

*из Архива  
Русской Революции*

# **Жизнь в ленинской России**



ОРИ



# **ЖИЗНЬ В ЛЕНИНСКОЙ РОССИИ**

# **LIFE IN LENIN'S RUSSIA**

Compiled and introduced  
by Mikhail Heller

**Overseas Publications Interchange Ltd  
London 1991**

**ЖИЗНЬ  
В  
ЛЕНИНСКОЙ  
РОССИИ**

Составление и предисловие  
Михаила Геллера

**Overseas Publications Interchange Ltd  
London 1991**

**ZHIZN' V LENINSKOI ROSSII**

Compiled and introduced by Mikhail Heller

First Russian edition published in 1991

by Overseas Publications Interchange Ltd

8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Originally published in 'Arkhiv russkoi revoliutsii', Berlin

Copyright © this edition

Overseas Publications Interchange Ltd, 1991

**ISBN 1 870128 86 9**

Cover design by Danuta Nickrasow-Heller

Printed and bound in Israel

## КАК ЛЮДИ ЖИЛИ...

Декарт заметил однажды, что историк может посвятить всю свою жизнь поискам подробностей быта эпохи Цезаря, которые были отлично знакомы тогдашней прислуге. Историки ищут общие линии, иногда законы, которые якобы движут человеческим развитием, пытаются обнаружить узор прошлого. Детали, мелочи жизни используются ими для иллюстраций. Между тем, без пустых бытовых подробностей прошлое становится серым и однообразным, похожим для всех стран и народов.

Известный русский журналист И.В.Гессен, покинувший советскую республику в 1919 году, издававший в Берлине газету "Руль", приступил в 1921 году к публикации "Архива русской революции". Всего — до 1930 года — вышло двадцать томов, представляющих сегодня важнейший источник знаний о том, как люди жили в новое "смутное время" революции и послереволюционных потрясений. В предисловии к первому тому И.В.Гессен предупредил, что "фактопись этих эпизодов будет неполной, если многих индивидуальных штрихов будет недоставать, то... смысл событий останется скрытым навсегда". Издатель обратился к участникам и свидетелям, призывая выполнить "подлинно священный долг... занести на бумагу свои воспоминания и впечатления, не задумываясь над формой и способом изложения".

Можно надеяться, что когда-нибудь все 20 томов "Архива русской революции" будут изданы. Пока издательство ОРІ хочет познакомить читателей с отдельными материалами, подобранными тематично. В 1980 году в серии "Вчера, сегодня, завтра" (№ 6) вышли воспоминания Владимира Набокова — "Временное правительство и большевистский переворот". Эти воспоминания открывали первый том "Архива". В сборник "Жизнь в ленинской России" включены свидетельства: разные авторы, разный жизненный опыт, различные углы зрения на советскую действительность. Вместе они позволяют ощутить, потрогать сырое мясо реальности.

А.С.Изгоев, публицист, автор статей в сборниках "Вехи" (1909) и "Из глубины" (1918), высланный в ноябре 1922 года вместе с большой группой "людей мысли", рассказывает о событиях, включающих Февраль и Октябрь, аресты, тюрьму, ссылку. "Спец" И.Рапопорт вспоминает о работе в советском учреждении на протяжении полутора лет (1919 — сентябрь 1920 гг.). Многие характерные черты социалистического способа хозяйствования — уже налицо. Журналист, редактор "Вестника литературы" Д.Лутохин представляет мир послереволюционной журналистики. "Вестник литературы", как говорит его издатель, был с 1919 по 1921 год "единственным несоветским журналом в России". Естественно, журналу и его издателю пришлось жить под тяжелой лапой советской цензуры, с первыми, но очень уверенными шагами которой знакомит нас автор. И он, как А.Изгоев, был выслан в 1922 году. К этому времени Д.Лутохин входил в состав редакции нового журнала "Экономист". Первые номера журнала (вышло 4, в том числе двойной — 4/5) вызвали неистовый гнев Ленина. Редакция "Экономиста" была включена в список высылаемых. Е.Постникова, жена профессора политэкономии А.С.Постникова, написала простой, очень бесхитростный рассказ о невыносимой жизни в советской республике, в том числе в Питере и Москве, в 1921 году.



И.Гессен в предисловии к первому тому как бы извинялся: "Конечно, трудно рассчитывать на трезвое и беспристрастное отношение к событиям, которые еще разыгрываются, к пожарищам, которые еще дымятся, к крови, к человеческой крови, которая еще льется широкими потоками". Тексты, включенные в сборник "Жизнь в ленинской России", удивляют своим спокойствием, трезвостью, отсутствием пафоса и проклятий. А между тем, у авторов воспоминаний были все основания для "пристрастности". А.Изгоев видел лица зверски убитых министров Временного правительства А.И.Шингарева и Ф.Ф.Кокошкина, перенес заключение и тяжелые работы в ссылку, Е.Постникова металась в поисках спасения от неминуемой гибели... Свидетельствуя, авторы воспоминаний стараются представить только факты, ничего кроме фактов. И за это мы, далекие потомки и читатели, благодарны им. Ибо эти свидетельства помогают нам через семь десятилетий после захвата власти большевиками понять смысл событий, которые определили трагическую судьбу поколений.

Михаил Геллер



**А.С. Изгоев**

**ПЯТЬ ЛЕТ  
В СОВЕТСКОЙ  
РОССИИ**

**Обрывки воспоминаний  
и заметки**

**"Архив русской революции", т. X, 1923.**



# I

## ПЕТРОГРАД 1917—1918 гг.

16 ноября 1922 года. В два часа дня иду по Бассейной нанимать тачечника для перевозки вещей на пароход "Preussen".

— На набережную на Васильевском Острове у Николаевского моста. Сколько?

— На иностранный. Знаю. Положите 15 миллионов...

Для очистки совести говорю: дорого, предлагаю 10, 12. Тачечник даже не спорит, до того вяло я торгуюсь.

Дорого? Конечно. Третья часть моего последнего месячного жалования по должности научного сотрудника Росс. Публ. Библиотеки. а в то же время меньше пуда хлеба, 1 р. 20 к. золотом. Один рейс тачечника равен десяти дням труда научного сотрудника. Вспоминаю "развернутую форму ценности" на первых страницах марксова "Капитала". Революция. Шагу нельзя ступить, чтобы не увидеть или не почувствовать ее.

Грузит тачечник наши два чемодана, два узла, дамскую шляпную коробку.

— Позвольте спросить: вы доброй волею или по приказанию?

— Высылают за границу вместе с многими другими профессорами и литераторами.

— Слыхал. Вот и Марья Николаевна Стоюнина, божья старушка, на старости лет уезжает. Мне многие известны. Раньше сторожем в гимназии Г-а служил. Только, сами знаете, по школьному делу на жалованье

не проживешь. А вот с тачкой поеду — семья два дня сыта. Мне много не надо. Коней, слава Богу, убавилось, людям — доход. Только что же они все-таки делают? Всех умных людей, кого в тюрьму, кого в Сибирь, кого за границу. А в России кто же останется? Одно, значит, неученое мужичье, чтобы легче командовать...

Хотя тачечник и не возбуждает во мне недоверия, но в советской республике повсюду так много провокаторской швали, что всегда сверлит мысль: а вдруг изливаешь свои чувства перед каким-либо поштучным агентиком из Чеки? Отвечаю суховато:

— Ну, всех — не всех, умных-то людей в России немало останется, да и глупые постепенно поумнеют.

— Это верно. Шалый был народ, а теперь понимать стал.

Тачечник, разогревшись, скидывает пальто на тележку и везет ее по ухабистой мостовой. Я иду по тротуару. Обмен мнений прекращается.

К нашему отъезду ноябрь подобрался. С неделю назад начались морозы вперемежку с мокрыми снежными вьюгами, со слякотью и туманом. Затем на день сильная оттепель и вот уже три дня, как прояснилось небо и легким морозцем сковало жидковатую грязь. Солнце светит, хоть не греет, но играет и на адмиралтейской игле, и на куполах. На Невском, куда сворачиваем с Михайловской, нас встречают военной музыкой. Идет отряд пехоты. Красноармейцы в новой форме с серыми шишаками на шлемах, с тремя широкими голубыми нашивками на груди у каждой полы серой шинели. Оркестр играет старый русский марш. Когда он смолкает, красноармейцы поют на мотив старой русской солдатской песни. С особой любовью и душевным благожелательством всматриваюсь в их лица. В последний раз, надолго, быть может, и навсегда, вижу я этот зародыш новой старой армии. Коммунистическая власть меня выгоняет из отечества. Но да будут благословенны русские солдаты! Пусть растут, крепнут, множатся! Придет время — они обретут на-

стоящих вождей, и на них воссоздастся Великая Россия. Идут в ногу, стройно, твердо. Заметна дисциплина и выучка. Лица молодые, здоровые, свежие. Ни угнетенности, ни злобы не видать. Глядят ясно, непринужденно. Помогай им Бог! Господи, спаси Россию!

У Александровского сада. Направо Зимний дворец. Нет старой решетки с золотыми орлами. Пожалуй, так оно лучше. К реке тянется небольшая красивая аллея. Правее — сад с неубранными следами разрушения и не-порядка, а там, прямо — стройные линии такого громадного, строгого, благородного здания. В свое время мы жестоко били эту Императорскую Россию, и за дело и без дела. Но ведь она дала нам С.-Петербург, построила Зимний дворец, Адмиралтейство, арку Главного Штаба, охранила Дворцовую площадь с Александровской колонной. Пусть это не столько Романовы, сколько Голштейн-Готторпские или Ангальт-Цербтские, но как много от них осталось неистребимой красоты и благородства, если не в людях, то хоть в зданиях!

Оставляя Зимний дворец направо, я сворачиваю налево и прохожу мимо дома: Гороховая, 2. Направо то, что было; налево то, что есть. Предел левых устремлений русской интеллигенции.

Три месяца тому назад, в семь часов прекрасного августовского утра, когда солнце богато поливало своими лучами и Александровский сад, и всю Дворцовую площадь, гнали нас под конвоем из этого здания петербургской чрезвычайки в Дом предварительного заключения на Шпалерной. Соседями моими были проф. Л.П.Карсавин и А.Б.Петрищев. После восьмидневного пребывания в грязном и подлом сарае Чрезвычайки с какой радостью вдыхали мы чистый воздух раннего утра! На Дворцовой площади, под жаркими еще лучами стареющего к осени солнца, мы обнажили головы, не то от жары, не то от чувства умиления перед раскрывшейся гордой красотой Святого Петрограда. Редкие прохожие смотрели с чувством участия и страха на эту толпу окру-

женных конвоем людей, так мало похожих на убийц, воров и мошенников... Мне и в голову не приходило тогда, что через три месяца, уже физически свободный, но душевно более подавленный, я буду проходить мимо Гороховой и Исаакия, направляясь на германский пароход, который увезет меня в изгнание. Концентрационный лагерь, снега Сибири и Архангельска, глухие кочевья Оренбургской губернии или Киркряя — все, что угодно, только не прекрасные мостовые Берлина, залитые электричеством, с давящей стремительностью тяжелых автомобилей, звонками трамваев и велосипедистов...

\* \* \*

Попросил тачечника поехать мимо памятника Петру Великому: крюк небольшой. Иностранцы пожмут плечами, французы придут в негодование, когда услышат, что это — лучший памятник в Европе, построенный иноземцем на русской почве и снабженный обрусевшей немкой латино-русской надписью. Памятника, который больше говорил бы моему уму и сердцу, я не видал на площадях ни Парижа, ни Берлина.

От Фальконета как-то само собой мысль потянулась к Паоло Трубецкому, обитательнившемуся русскому. У Невы — начало, там, у Николаевского вокзала — конец Императорской России. Здесь взлет ввысь, стремление к морю, порыв на запад, презрение к шипящей, извивающейся змее. А там — дородный отъевшийся урядник стянул поводья своей упрямой, озлобленной кобылы, давит ее своей тяжестью и своей волей, направляя на великий сибирский путь, приведший к манчжурскому поражению. Памятника Петру коммунисты не тронули. Они его даже оберегали и время от времени не прочь были родными с ним счестся. В Петре Великом было, действительно, немало от большевика. Но, к сожалению, в коммунистах почти ничего нет от Петра. Петр не только раз-



рушал, он и строил, и результаты его стройки держатся доселе. Что построили коммунисты? Петр говорил: а о Петре ведайте, ему жизнь не дорога, была бы жива Россия! Коммунисты говорят: нам Россия не дорога, был бы жив интернационал! Тут непроходимая пропасть.

Памятник Александру III коммунисты сначала забили досками и соорудили на нем балаган, с подмостков которого по революционным праздникам коммунистические шуты ублажали лускающую семечки толпу.

Глупые люди не поняли глубокого национально-революционного смысла, бессознательно отлитого П.Трубецким в его статуе. Точно исполняя тайное желание Марии Федоровны, они укрыли его от глаз народа и превратили в символ своей революционной пошлости, лишь отдаленно напомилавший расправу татар над русскими князьями. Когда им все это разъяснили, коммунисты сняли свой балаган с памятника, испакостив его глупыми стихами бедного, пьяного Демьяна. И воздвигнут теперь на площади Революции памятник коммунистической заборной литературы, там, где раньше, на площади Знаменья, стоял обличительный памятник Александру III.

\* \* \*

Дальше бежит мысль... Завернув углом с площади, такой же прямой лентой, как и Новый, стелется Старый Невский, приводя в широкие ворота Александро-Невской Лавры. До могилы памятна будет мне эта прекрасная дорога, мой крестный путь. Еще сегодня я был там, на могиле моей дочери, одной из безвестных жертв русской революции. Ее убила на восемнадцатом году жизни не пуля чекиста и даже не сыпная вошь соседки по арестантской наре. Были еще более прозаические способы убивать. У нее не было ни галош, ни целых ботинок, и она постоянно промачивала ноги. В квартире было 4 градуса мороза и, помогая матери, она таскала тяжелые бревна вместо отца,

мыкавшегося в то время по коммунистическим тюрьмам. Питалась тогдашним российским хлебом и пшенной размазней. Хрупкий организм надломился. Легкая простуда свалила ее в конце января и через десять дней убила...

Она собиралась ехать в Москву "хлопотать" за отца. Я ждал ее, мое сокровище на земле, которой не видел уже более года, с той памятной ноябрьской ночи, когда под гром юденических пушек, она одна с матерью, каким-то чудом и милостью добродушного конвоира пробравшись на вокзал, мерзла, провожая меня, увозимого в Москву в арестантском вагоне.

Теперь она, получив отпуск, — в Сов. России все вынуждены были служить, даже дети, забросив учење, — собиралась навестить меня. Я ждал ее со дня на день. Вместо того пришло письмо. Ничего страшного еще не было в этом письме: Нюся немного простудилась и отложила отъезд. Но сердце уже забило тревогу. Следующее письмо ее удвоило. Я написал Дзержинскому, прося освободить меня на время, на месяц, под честное слово, чувствуя, что над многострадальной семьей моей нависает гроза. Спасибо Е.А.Пешковой и Винаверу из Красного Креста: они много помогли мне. Спасибо Е.Д.Кусковой и Н.М.Кишкину, тогда вольным гражданам РСФСР: они дали свое поручительство, что я сдержу слово и вернусь...

Письма доходили не скоро из Петрограда в московский Ивановский лагерь, через шесть-восемь дней. Я чувствовал, что идет на меня самое страшное из всего перенесенного мною. Я сознавал, что меня скоро отпустят — пусть на время — из постылой тюрьмы, что я увижу жену и детей. Но я молился: Господи, если дочь моя своими страданиями, своею смертью покупает для меня свободу, не надо, Господи, оставь меня тут, дай мне смерть, но сохрани жизнь моему ребенку! Ловя минуты одиночества, я, старый, седой человек, плакал тяжелыми слезами, бесильный что-либо сделать, духовными очами следя за агонией ребенка...

Пришла бумага. С вещами вытребовали меня на Лу-

бянку в ВЧК. Там долго не держали, взяли подписку, что обязуюсь вернуться через месяц, ипустили. В тот же вечер я получил возможность уехать в Петроград. Добрые люди помогли, случайности благоприятствовали.

Ранним февральским утром, еще в темноте, шел я с узлом на спине по Суворовскому проспекту, с глухой тоской на сердце, со слабой надеждой в уме. Парадные двери в Сов. России уже давно не открывались. Подымаюсь по черной лестнице: звоню, стучу — долго, очень долго. Уже не слышу, как раньше, биения своего сердца. Только холодный пот буквально льется из-под шапки и совсем застлал мои очки. Вдруг слышу слабый голос:

— Кто там?

— Я, Галочка.

Дверь, наконец, открылась...

— Что с Нюсей?

— Третьего дня похоронили. Соня больна тифом. Я тоже с постели.

И повалилась в слезах, без сознания, на пол... Не помню, как довел ее до кровати. Старшая дочь горела, но меня узнала, смогла даже сказать:

— Папа, не целуй меня, я захватила сыпняк...

Воды в квартире не было: все краны замерзли и трубы полопались. Уборные не действовали. На кухне и в комнатах валялись огромные обмерзлые колоды, которые жена с детьми как-то ухитрились втащить в квартиру. Проклятые колоды! Жена без ужаса не могла на них смотреть, приписывая им смерть ребенка. Дом литераторов скоро послал людей, которые их распилили и раскололи. Воду давали соседи.

В тот же день пошел по Старому Невскому в Александрo-Невскую Лавру. Провожала соседка, помогавшая хоронить. Она указала и могилку. Жена и старшая дочь слегли, вернувшись с похорон. У дочери температура поднялась уже за сорок.

Против Собора, на свободной поляне, под старой широковетвистой березой, вблизи дороги указала мне сосед-

ка свежую могилку, отмеченную небольшим рукодельным крестом. Кругом был снег, местами глубокий. На могильном холмике чернели еще комья замерзшей земли. С той поры и началось мое хождение по Старому Невскому. Сначала один, потом семьей. Всей семьей и могилку весной убрали, и водрузили на ней настоящий крест. Крест стоил тогда безумных денег, и соорудила его фабрика того предприятия, на котором служила покойная. Жена выкрасила его белой масляной краской, я сделал на жестяной дощечке надпись. В нашей квартире этот крест высох. На своих плечах отнесли мы его на кладбище и там закопали на аршин в землю в головах у могилки, на которой выздоровевшая дочь развела цветы. Все это было уже позже, в мае 1921 г.

Февраль и начало марта ушли на уход за больными. К счастью, их удалось выходить. Добрые люди помогли. Не оскудела еще ими русская земля. В каких тяжелых обстоятельствах я себя ни припоминаю — а много их было, всяких — всегда находился добрый человек, помогавший и советом, и делом... К тому времени, когда я, выполняя данную подписку, собрался в обратный путь, во Всероссийскую Чрезвычайку, дочь уже могла сидеть на кровати, а жена была почти здорова. В Москве меня держали недолго и скоро освободили по какой-то специальной амнистии 18 марта 1921 г., не то в память пятидесятилетия Парижской Коммуны, не то по случаю взятия мятежного Кронштадта.

Не внял Господь моей молитве в Ивановском лагере, прежде — монастыре. Смертью своей дочь моя дала мне свободу. Не мне судить пути Господни. Вероятно, не полна еще моя чаша, что-то предстоит еще сделать здесь на земле, для чего-то надо жить...

\* \* \*

Мы подошли к пароходу, когда воздух уже подернулся легким осенним сумраком. На берегу толпилось много на-

роду, главным образом, молодежи. Тачечник помог перенести багаж на баржу, служившую таможенной передней к пароходу. После некоторых переговоров и споров удалось втянуть вещи в отделение для таможенного осмотра. Пассажиры прошли в теплую комнату, и потянулись мучительные, тягостные, нудные, длинные часы ожидания развязки, когда душевная усталость точно убивает боль от разлуки с близкими и дорогими людьми.

Приходили друзья и знакомые прощаться. Целовались, жали руки, печально смотрели в глаза и говорили:

— Не знаю, жалеть вас или завидовать? Кому хуже, высылаемым или остающимся? Мы без вас совсем осиротеем и потонем в болоте. Теперь только чувствуешь, как важно было для нас, что вы, последние, еще тут жили...

Отвечаешь им, почти как тачечнику:

— Какие мы последние! Не перевелись еще люди в России...

Приходили большими группами студенты прощаться с профессорами. Приносили цветы их женам, помогали переносить вещи. Выющейся, длинной, колеблющейся разноцветной лентой потянулись сквозь публику, точно гусиный выводок, сотни полторы молодых, возбужденных от холода, от волнения женских лиц. Студентки, ученицы Стоюнинской гимназии, пришли проститься с Марией Николаевной, сопровождавшей в изгнание своего зятя проф. Н.О.Лосского.

Часов до одиннадцати вечера гудел берег от оживленного прибое молодежи, сменявшей друг друга.

Каждое прощанье заканчивалось словами:

— Мы говорим вам не "прощайте!", а "до свиданья"!..

Я старался прислушиваться, что отвечала моя душа. В ней не было ощущения похорон, но не слышал я и бодрых звуков радостной надежды. Громада-Петербург со всей его культурой и государственным строем — песчинка в сравнении с вставшей на дыбы Россией. Интеллигенция — песчинка в сравнении с громадой Петербурга и разрушающихся русских городов. Мы — небольшая часть

интеллигенции, старавшаяся поддержать ту искру, из которой "возгорится пламя".

— Опять Пушкин! Нельзя жить ни в С.-Петербурге, ни в Петрограде, не зная и не любя Пушкина.

\* \* \*

Давно уже началась посадка. Вызываемый, с семьей и документами, проходил в соседнее помещение, там его допрашивали, осматривали, и затем он безвозвратно поглощался пароходом. Оставшиеся в ожидальной только спустя более или менее продолжительное время видели через окно, как по трапу передвигались силуэты людей с вещами...

В половине двенадцатого ночи вызвали и меня с женой. За столом с бумагами сидели двое русских и один немец. Сделав какие-то отметки на листе, спросив о возрасте и еще о чем-то, меня передали красивому юноше в чекистской форме. Изысканно вежливо он провел руками по моему пиджаку и брюкам, для приличия вынул из бокового кармана пакетик, оказавшийся пачкой папирос, и положил его обратно.

— Сколько у вас с собой денег?

Я сказал и вынул мой бумажник. Чекист не стал даже смотреть. Один из сидевших за столом русских оторвал клочок бумажки, написал два слова и передал чекисту.

— Будьте добры пойти на осмотр вещей.

Мы прошли в помещение, куда часов семь тому назад я не без труда втащил мои вещи. Мой спутник подозвал одного чиновника и передал ему клочок бумажки. Тот взял, посмотрел и удивленно спросил:

— Как это понимать?

Чекист нагнулся к его уху и что-то прошептал. Меня эта сцена чрезвычайно заинтересовала. Поглядим, каков будет осмотр...

Узлы были развязаны и чемоданы мною раскрыты. Руки надсмотрщиков рылись в вещах, но они ничего от-

туда не вынули, и глаза их ни на что не смотрели. Осмотр происходил, и, в сущности, его не было. На то, чтобы снова завязать узлы и привести в порядок чемоданы, у меня ушло больше времени, чем на весь осмотр.

А сколько дней до отъезда пропало у меня на беганье по учреждениям, на хлопоты за получением десятка разрешительных бумаг, на составление и засвидетельствование копий! Сколько сил наши представители ухлопали на переговоры с ГПУ, управляющими таможенной, финансовой частью, на сношения с Москвой, с цензурой! Борьба шла из-за лишней простыни, из-за лишнего золотишка золотых вещей. Все это казалось настолько серьезным, что я не взял многих необходимых вещей, своевременно не занесенных в списки. О книгах, рукописях и заметках нечего и говорить. Памятуя, сколько этого, ценного для меня одного, материала, погибло при прошедших обысках, арестах и этапных путешествиях, я не взял с собой ничего. А можно было все вывезти.

Рассказывали, что этот день был вообще легким для всех пассажиров. Не только у административно-высылаемых за границу ничего не отобрали, но и у "штатских" взяли лишь банку икры у одной дамы и кольцо с камнями у другой. Не всегда, говорят, так бывает...

У меня сложилось впечатление, что были даны особые указания не чинить нам никаких притеснений. Советская власть точно хотела подчеркнутой вежливостью украсить наше расставание с родиной и тем — облегчить или отяготить наши последние минуты.

Противоречива душа человеческая. Я лично эту подчеркнутую мягкость властей почувствовал как горечь. Высылают без злобы. Это хуже, меньше шансов на скорое возвращение...

\* \* \*

После "посадки" мы еще несколько часов оставались в Петрограде и двинулись только на рассвете. Десятка два

людей успели прибежать, — трамваи еще не ходили, — чтобы крикнуть нам с пристани последнее "прости". Солнце осветило для нас отходящую столицу и еще час-другой мы могли жадно вбирать в себя последние впечатления.

Затем долго плыли мы по водному кладбищу бывлой русской силы, русского богатства, русской славы. Суда, коммерческие и военные, превращенные в железный лом, недымящие фабричные трубы, неработающие краны, полуразобранные леса у недоконченных построек, пустые доки, заброшенные баржи, пустые склады...

Подходим к Кронштадту и его фортам, теперь игрушечным для современного морского артиллерийского огня.

Толбухин маяк. Сторожевые военные суда: русское и эстонское. Соседняя независимая держава.

Какой-то пароходик подходит к нашему "Preussen". Высланные пробуют шутить:

— Пароходик от Чеки с приказанием вернуть всех обратно до нового распоряжения...

Нет, новых распоряжений не последовало. Пароходик снял только лоцмана. Мы в открытом море. Вне досягаемости для Госполитуправления РСФСР, но и вне России...

\* \* \*

Несмотря на середину ноября (1922 г.), погода была на редкость хороша. Ни снега, ни дождя. Почти не качало. За эти три дня тихой морской прогулки я мог вспомнить и продумать пять лет моей жизни в коммунистическом раю, почти шесть лет революции. Обрывки этих воспоминаний и мыслей я и пытаюсь ныне записать на этих страницах.

\* \* \*



Не выдавшие станут отрицать, а многие из видевших будут теперь спорить, что в самом начале революции были дни всеобщего энтузиазма, необыкновенного подъема, подлинного слияния всех в одну душу. Вот и ген. Деникин, подобравший знамя, выпавшее из мужественных рук ген. Корнилова, пишет в своих воспоминаниях: "Праздничные дни трогательного, радостного единения между офицерством и солдатами быстро отлетели, заменившись тяжелыми, нудными буднями. Но ведь они были, эти радостные дни... Сразу отпали как-то сами собой все наносные, устарелые приемы, вносившие элемент раздражения в солдатскую среду; офицерство как-то подтянулось, сделалось серьезнее и трудолюбивее".

Было, только длилось все это очень и очень недолго. Я, человек типа более рассудочного, чем волевого или сентиментального, тоже пережил эти чувства, только на миг еще более короткий, чем другие. С 1905 года у меня создалось вполне определенное представление о характере русской революции, которую я считал, к несчастью, неизбежной, как только "внешний толчок" освободит связанные силы. Таким "внешним толчком" и явилась война.

Часто спрашивал я себя: в чем секрет этого очарования революции, этого длящегося одну минуту всеобщего энтузиазма? Революция — это освобождение от внешних пут. В этих путах есть, очевидно, нечто такое, что действительно изжито всем народом, превзойдено им в своем духе, может и должно быть сброшено. Но освобождение чрезвычайно быстро переходит за эти пределы. Освобождая себя от внешних цепей и страха, человек уже не находит никаких сдержек в своей душе. Энтузиазм, объединявший всех, исчезает. Одни попадают во власть темных сил и служат им более или менее исступленно. Других гнетет реакция, чувства раскаяния, мести и гнева.

Но какое-то святое зерно успело побывать в душах всех. Я видел это на улицах Петрограда в те три-четыре дня, пока еще его тротуары и снежные сугробы не были

заплеваны семечками.

Коренное различие между политическими революциями и религиозными движениями в том, что последние, обусловленные в известной доле тоже земными причинами, обращаются к вечному в душе человека. Их освободительное влияние на человеческую душу длится поэтому и за пределами кратковременной спазмы энтузиазма. Освободительное влияние революции гаснет вслед за этим мигом. Поэтому-то так необъятно велико по сравнению со всеми революциями мира воздействие христианства на души миллиардов человеческих существ.

\* \* \*

Энтузиазм, несомненно царивший в столице в февральско-мартовские дни 1917 года, спустя восемь месяцев, в конце октября, не ощущался никем, кроме тесной группы лиц, спасших себя захватом власти. Незнакомые люди не поздравляли друг друга и не целовались на улицах. И если в преддверии весны 17-го года "все были пьяны от восторга и ни единый — от вина", то осенью ни единый не был пьян от восторга и очень многие — от вина. Было даже немало пьяных, утонувших в винных погребках, затопленных водой. А сколько расстрелянных новой властью!?

На большевиков в октябрьские дни смотрели как на захватчиков-авантюристов, царствие которых будут считать если не неделями, то месяцами. Пожалуй, так думало и большинство самих захватчиков, с тоской смотревших на себя как на обреченных людей. Нынешнему петроградскому диктатору Зиновьеву пришлось испытать почти то же, что, по словам С.М.Соловьева, случилось со вторым Лжедмитрием в Стародубе. Пойманный крестьянами, он никак не хотел признаваться, что он — царь. Крестьяне пригрозили пыткой. Тогда Лжедмитрий выхватил у одного палку и закричал: "Ах вы, с... с., я вам покажу,

какой я царь!" Мужики повалились в ноги...Зиновьева, как и Луначарского, солдаты штыками заставили взять обратно свою отставку. Зиновьеву, как и множеству других, пришлось повторить знаменитые слова: я — их вождь и должен следовать за ними. Другое дело — Ленин. Этот смотрел в одну точку и видел яснее. Для него с самого начала социализм, война и остальное были только средством для овладения властью и удержания ее...

Я ценил шансы большевиков с первых же дней гораздо выше, чем даже они сами. Почти все революционеры проповедовали большевизм, не решаясь осуществить его. Было ясно, что те большевики, которые на это решатся, окажутся сильнее всех.

Газета "Речь", попытавшаяся выходить после большевистского переворота, была вскоре закрыта, как и вся некоммунистическая пресса. Сразу покончить со свободой печати большевики не решились. Через некоторое время нам было дано знать, что мы можем возобновить издание Политического руководителя "Речи" П.Н.Милюкова уже не было в Петрограде. Мы стали выпускать "Наш век". Газета не находилась ни в какой связи с Центральным Комитетом конституционно-демократической партии, уже раскалывавшейся в то время по ориентациям. Несмотря на это, несмотря даже на делаемые в таком смысле заявления, газету упорно продолжали именовать кадетским официозом и в ее статьях видеть настоящее отражение кадетской мысли. Большинство членов Центр. Комитета, проживавших в Москве и крепко державшихся союзнической ориентации, были этим чрезвычайно недовольны. Основное ядро редакции состояло из И.В.Гессена, редактировавшего газету с большими перерывами, но в работах ЦК участия не принимавшего, М.И.Ганфмана, заменявшего отсутствовавших редакторов П.Н.Милюкова и И.В.Гессена, не состоявшего даже членом к.-д. партии, Д.В.Философова — тоже не кадета, наконец, К.Н.Соколова и меня. Мы двое были членами Центр. Комитета, его правого крыла, но не имели в партии влия-

ния как люди, не отражавшие господствующих взглядов. Несмотря на это, когда говорили о кадетских взглядах, ссылались только на "Наш век". Ничего с этим нельзя было поделаться! Курьезный случай, свидетельствующий, как трудно бороться с общественным предрассудком, превратившимся в традицию. М.И.Ганфман неоднократно жаловался мне:

— Ни о чем нельзя писать. Напишешь — сейчас и подхватят: вот как думают кадеты, а кадеты тут ни при чем.

Любопытно, что когда появился "Наш век", большевистские власти высказывали недовольство, почему газета не назвалась снова "Речью".

\* \* \*

Уже с апреля 1917 г., когда темный Линде вызвал Финляндский полк требовать отставки П.Н.Милюкова, а командующий войсками округа ген. Корнилов лишен был Советом права распоряжаться солдатами, для меня стало очевидно, что пришествие большевиков только вопрос времени. Правда, кадеты сделали тогда попытку выйти на улицу и позвать ее за собой. Помню, как мы в нашем прекрасном тогда помещении на Французской набережной готовили наши зеленые знамена и плакаты. Множество самоотверженной молодежи обоего пола откликнулось на зов. Скромная наша манифестация, тотчас же по выходе на Литейный, стала обрастать толпами народа, восторженно приветствовавшими патриотические лозунги. Тогда борьба была еще возможна с некоторой надеждой на успех. Только нельзя было ее вести рука об руку с социалистами из Совета Раб. и Солд. Деп.

В рядах Врем. правительства это понимал едва ли не один лишь П.Н.Милюков, против которого вел тонкую интригу Н.В.Некрасов, еще не вышедший из Центр. Комитета партии. Все, что было во Врем. правительстве правее кадет, с кн. Г.Е.Львовым во главе, льнуло к социалистам

из Совета, чувствуя свое бессилие. В самой кадетской партии П.Н.Миллюков не встретил поддержки. В решающем голосовании Центрального Комитета 18 человек против 10 высказались за то, чтобы не настаивать на оставлении за П.Н.Миллюковым портфеля министра иностранных дел.

Интрига Н.В.Некрасова увенчалась успехом: партия предала своего вождя. Должен сказать, что тут играл роль не только страх порвать с социалистами, казавшимися тогда силой, но и сознательное недовольство многих политической линией П.Н.Миллюкова. В.Д.Набоков и некоторые другие, среди них и очень влиятельные лица, официально стоя на союзнической платформе, сознавали уже в то время непосильность для страны продолжения войны, не делая из этого пока логического вывода.

Я очень ясно помню тогдашнее положение. Конец апреля глубоко врезался в мое сознание, так как тогда я понял неотвратимость пришествия большевиков. Я был в числе десяти, настаивавших на немедленном и полном уходе всех кадетов из всех министерств. Если огромное большинство русской интеллигенции продолжает пребывать в духовном плену у социалистов и одолеть это настроение нет сил, то не останется ничего другого, как поставить социалистов у власти. Без тяжелого предметного урока страна, очевидно, не обойдется. Чем скорее он придет, тем лучше для России: скорее закончится, сохранится больше нетронутых сил. Вреднее всего мне казалась коалиция с социалистами. Страна испытала бы тогда весь вред социалистического правления, не осознав политического урока. Социалисты мастерски прикрывались бы буржуазными министрами, продолжая свое дело разрушения и обвиняя буржуазию и кадет в его результатах. У них всегда оставался бы довод: это от того, что эгоистическая буржуазия не приемлет социалистической программы и саботирует ее осуществление.

Мне казалось, что уход П.Н.Миллюкова должен повлечь за собой отставку всех буржуазных министров и образование беспримесного социалистического кабинета. А

в социалистической среде — я в этом никогда не сомневался и в 1907 г. говорил это в полемике с Г.В.Плехановым, а в 1911—1913 гг. в спорах с А.Н.Потресовым — очень скоро взяли бы верх большевики. Я и теперь держусь того мнения, что этот путь был единственно правильным. Конечно, и он обрекал Россию почти на те же страдания, какие начались для нее с октября. Но я убежден, что России было бы гораздо лучше пережить господство социалистов и большевиков без этого ужасного, гнилого коалиционного промежутка, когда так бесславно погибли наши и прогрессивно-либеральные общественные круги, и социалисты — не большевики.

Когда произошло знаменитое голосование Центрального Комитета, предавшее П.Н.Милюкова и открывшее эру "коалиций", я думал: после первой революции, в 1909 году, семь авторов в сборнике "Вехи" выступили со словом предостережения, указав ясно, куда ведут страну господствующие интеллигентские настроения. Книгу объявили реакционной злостной клеветой, и во главе похода против нас был П.Н.Милюков. Теперь П.Н.Милюкова поддерживают "вехисты", патриоты и государственники, но преобладающее большинство либеральной интеллигенции, им же воспитанное, идет против него, психически безоружное против революционеров-социалистов.

Когда через несколько дней после нашей апрельской, первой кадетской уличной манифестации, ко мне обратилась с недоуменными упреками кадетская молодежь: "Как? Неужели партия оставляет Павла Николаевича и кадеты не уйдут из правительства?", — я чувствовал себя чрезвычайно смущенным. Что мог я им сказать?! Над Россией повис рок, и пусть скорей придут большевики... У кадетской партии не оказалось достаточно самостоятельной духовной силы. Идейно она была в плену у социалистов. Надо было готовиться к тому, чтобы хоть с достоинством принять расплату. "В политике нет мести, а есть последствия", — сказал в одной из своих речей П.А.Столыпин.

В конце апреля кадетская партия была разбита наголову. Морально она получила удар, от которого уже никогда не могла оправиться. Государственно мыслящие элементы русского общества лишились своего вождя. Никакой другой силы, кроме кадетов, не было. Кадеты же завязли в тине соглашений с социалистами и никакого порыва ни вызвать в стране, ни собрать вокруг себя не могли. Министры кадеты, посылаемые в социалистические министерства, А.И.Шингарев, Ф.Ф.Кокошкин, А.В.Карташов — все это "жертвы вечерние". Ген. Корнилова окружили Завойко, Аладьин и другие незнакомцы...

\* \* \*

Был жаркий июньский вечер. В одной из комнат кадетского клуба у раскрытого балкона с чудным видом на царственную Неву, перед которой парижская Сена кажется скромной, домовитой провинциалкой, мы сидели с А.Н.Рутценом и в ожидании остальных членов ЦК беседовали о делах текущих.

— Что будет дальше? Как по вашему мнению? Вы пророчествуете иногда недурно.

— Теперь уже не надо быть пророком. Надо только ясно видеть. Революции, когда удалось раскачать массы, имеют свои законы. Теперь придут социалисты, за ними большевики, погонят нас отсюда, объявят террор, перевешают тысячи людей и приведут за собой диктатора. Так всегда кончаются революции, если стране, на которую они обрушились, не суждено погибнуть...

\* \* \*

Наступил день 3 июля — первой попытки большевиков к захвату власти под флагом "вся власть советам". Накануне ушли из министерства министры-кадеты из-за

оборудованного Н.В.Некрасовым за их спинами "универсала" об автономии Украины даже без точного определения границ этого государственного новообразования. Министр В.М.Чернов приветствовал их уход словами "скатертью дорога", а в это же время, поднося к его носу кулак, рабочий большевик ему кричал: "Принимай, с.с., власть, когда дают...". Та же "стародубская" сцена, что позднее с Зиновьевым и Луначарским...

Партийная деятельность с июля по октябрь оставила по себе слабое впечатление. Подготовка к Учредительному Собранию, веры в которое уже не было. Ежедневные удары с фронта, свидетельствующие о все большем и большем распадении нашей военной силы. Необходимость в газете все это несколько сглаживать, ослаблять ввиду готовящегося наступления. А в Центральный Комитет являлись офицеры, в том числе и председатель офицерского союза Новосильцев, и предостерегали: наступление невозможно, оно обречено на неудачу и кончится лишь тем, что будут перебиты лучшие части офицерства и солдат. Но "коалиция" была заключена на платформе наступления. "Наступление" было тем трамплином, с которого собирався прыгнуть Керенский. Около же этого времени, если не ошибаюсь, и Троцкий усмотрел в Керенском "математическую точку русского бонапартизма"... Приходилось всячески поддерживать Керенского. Иногда мелькала надежда: а вдруг?.. Особенно громко заговорила она, когда пришли известия о первых успехах 18 июня. Как-то сами собой начались народные манифестации, и кадетские зеленые плакаты снова появились на улицах Петрограда. Последние радостные петроградские дни... Длились они недолго, сменившись вестями о разгроме, о Тарнопольском и Калушском позоре. Громко прозвучал голос ген. Корнилова, слева которого стал военный министр Б.Савинков, а справа — комиссар Филоненко.

На авансцене металась истерическая фигура А.Ф.Керенского. В Центральном Комитете все чаще и чаще обсуждались различные министерские комбинации. Ос-



новное разногласие по-прежнему сводилось к принципиальному расхождению во взгляде на коалицию с социалистами. Число противников коалиции уменьшалось по мере того... как яснее и яснее вырисовывался вред коалиции. Объяснялся этот парадокс очень просто. Дело было сделано. Возврата назад уже не существовало. Коалиция связала партию, и вне коалиции уже не представлялось возможности политической деятельности. Вино было раскупорено, его надо было пить.

За сотрудничество с социалистами особенно стояла "Москва" и "провинция". Лидером этой части партии являлся Н.М.Кишкин, уже в то время рассчитывавший убедить Керенского перебраться с правительством в Москву, чтобы, высвободившись из-под влияния Советов, сделать последнюю попытку оздоровления демократической России. Московское направление считалось в партии более "левым". В нем видели и выражение голоса "провинции", черноземной Руси. Все это были иллюзии. Московское направление также не имело за собой никакой силы, кроме отдельных лиц, рассчитывавших заговорить или обойти стихию. А она шла своим путем.

Кстати. Социалисты и большевики вели в то время агитацию против кадет, как партии не только буржуазной, что, конечно, справедливо, но и капиталистической, что было полной неправдой. "Долой министров-капиталистов!" — кричала толпа, требуя отставки Шингарева и Кокошкина. К сожалению, между капиталистами и кадетами связи не было. Ее не образовалось до революции. Только летом начались попытки более тесного сближения, и представители московской торгово-промышленной группы изредка появлялись в заседаниях Центр. Комитета. Партия, как была, так и осталась до самого конца интеллигентской. Она встретила живой отклик в мелкой и средней городской буржуазии, осторожно обошла капиталистические верхи и не смогла сделать себе опоры из крестьян-собственников. Между тем, только оттуда она могла почерпнуть настоящую силу.

В свое время я был, пожалуй, единственным человеком в партии, решавшимся утверждать, что "стольпинские хуторяне" должны быть сделаны партийным фундаментом. Высказывание этой ереси причинило мне немало неприятных минут и не раз заставляло подумывать об уходе из партии. Ошибка была не в самой мысли — нынче нет кадета, который бы ее не разделял, — а в допустимости иллюзий, что наличный состав верхов партии, подбиравшихся долгим историческим процессом, способен эту мысль осуществить. С этой точки зрения, я признаю правильными упреки социалистов в отсутствии у кадет достаточной "демократичности". Да, было много "барского" в хорошем и в дурном смысле слова.

\* \* \*

Корниловские дни я провел в Эстляндской губернии, куда ездил за семьей ввиду упорных слухов о предстоящем занятии края немцами. В маленьком эстонском городке Гапсале я мог наблюдать, как революция, довершая дело войны, расшатывала государственные скрепы России и подготавливала местные сепаратизмы.

С 1910 г. ежегодно мы проводили по несколько летних недель в этом чистеньком эстонском городке, и я мог следить за кривой народных настроений. Эстонцы относились к русской власти и к русским вполне лояльно, да и власть, и русское население ничем вражды эстонцев к себе не вызывали. Только на железных дорогах преобладали русские, но во всех других учреждениях было очень много чиновников-эстонцев и эстонский крестьянин и на почте, и у воинского начальника, и в казначействе, и у нотариуса мог объясняться на своем языке. Русская власть являлась народу в демократическом облачении защитника от немецких баронов. Эстонские газеты, общества, научно-литературные и спортивные, политические партии, митинги — все это в довольно широких, по нынешнему,

размахах, было доступно эстонцам. Количество русских в крае медленно, но постепенно росло: они занимались ремеслами и кое-какой торговлей. Часть эстонцев исповедовала православную веру, и в Гапсальском соборе шла двойная служба: на славянском и на эстонском языках.

При объявлении войны все симпатии эстонского населения были на стороне России. Кое-где начинались даже преследования немцев на почве шпиономании. Надо отдать справедливость тогдашнему эстляндскому губернатору — он сдерживал эти проявления национальной вражды к немцам, выражавшейся у эстонцев вообще значительно слабее, чем у латышей.

Но военные поражения, с одной стороны, начавшийся еще до революции распад армии, с другой, делали свое дело. В 1916 году я видел уже явные признаки недовольства населения русскими солдатами. Кражи в Эстляндии были явлением очень редким. В Гапсале еще в 1912—1913 годах — не поверят! — можно было всей семьей уйти из дому, не заперев дверей. Наши солдаты быстро отучили от этого. Они крали картошку и овощи с огородов, обирали фруктовые сады, растаскивали заборы на топливо. Они не только брали для собственных нужд, но ломали и разрушали все, точно для процесса разрушения, чтобы ни себе и ни другим. Занятые ими для постоя дома они оставляли в ужасном виде, приводившем эстонцев в отчаяние. Дома превращались в сплошные клоповники с выломанными рамами, сожженными дверьми, разрушенными полами и печами.

— Почему, — жаловалась мне одна эстонка, — русский солдат не может перепилить полено, а старается разбить печь, чтобы оно влезло?

В 1917 г. во время революции, когда дисциплина резко пала и офицеры лишились своего влияния, эстонское население стало прямо панически бояться русской армии, своей защитницы. Слонявшиеся толпы солдат с расстегнутыми воротами рубах, с шинелями внакидку, поплеывающих вокруг себя неизбежными семечками, наводили

страх. Жители запирались на запоры, старались сидеть дома после сумерек, не выпускали одних девочек. Каждую ночь происходили кражи, слышались по ночам крики, раздавались выстрелы. В тихом эстонском городке, в котором убийство служило предметом многолетних толков и воспоминаний, оно сделалось явлением обычным, грозившим каждому. В июле и августе 1917 г. население Гапсала, как и всей Эстляндской губернии, определенно и нетерпеливо ждало прихода немцев как избавителей и создавало отряды самообороны, ячейки эстонских войск.

Ген. Корнилов был самым популярным генералом... среди мирного населения, но не среди войск, по крайней мере, тыловых, которые я наблюдал. Гапсальские солдаты его ненавидели, но и боялись. Боязнь, впрочем, скоро прошла, как только Керенский и Советы объявили генерала изменником. Притихшие на минуту солдаты встрепенулись, пошли митинги, по адресу генералов и офицеров неслась ожесточенная брань. Никогда не забуду, что переживали в то время офицеры, жившие в Гапсале иногда с семьями. Жены их, наряду с местными обывателями, молили Бога о скорейшем пришествии немцев. Занятие островов возвещалось ежедневно. Немцы заставили, однако, эстонцев подождать еще пять недель.

Мы выехали за день до разрушения пути правительством ввиду выступления ген. Корнилова. Наш поезд проскочил в Петроград последним, зато мы лишились всего белья и платьев, украденных железнодорожниками по прибытии багажа в Петроград. Железнодорожники тогда совершенно перестали стесняться, и кражи багажа сделались заурядным явлением. Впрочем, через год, уже при большевиках, в мае или июне 1918 г., за чемодан и корзину мне были выданы 200 рублей керенками при соответствующей переписке. Как долго еще, несмотря на "реформы" Некрасова, на политические перевороты, продолжал работать почти прежним темпом и порядком старый технико-бюрократический железнодорожный аппарат! Долго надо было трудиться, чтобы разбить его до конца. Много

усилий надо было для того, чтобы даже четыре года воевавшую Россию довести до голодовок и людоедства...

\* \* \*

Насыщенный эстляндскими впечатлениями, я приехал в Петроград с совершенно определенным мнением о выступлении ген. Корнилова. Оно совпало с мнением большинства членов партии. Все высоко ценили личность ген. Корнилова, но считали его попытку осужденной на неуспех. Некоторые думали, что дело кончилось бы иначе, если бы "струсившие" Керенский и Савинков не "предали" спровоцированного ими генерала. Среди части либеральной интеллигенции с большим доверием относились к слухам, будто Керенский и Савинков знали о планах ген. Корнилова, сочувствовали ему, подталкивали даже, пока Гоц, Церетели и другие руководители Совета не принудили Керенского объявить генерала изменником.

После неудачи Корниловского движения началось агония Временного правительства. Не знаю, насколько верны слухи, будто крайние правые помогали большевикам его низвергнуть. Достоверно, что очень много бывших полицейских, жандармов и тайных агентов вошли в ряды большевиков. Несомненно также, что с того времени в кругах правых и умеренных начали крепнуть немецкие симпатии и желание мира, хотя бы сепаратного. В печати много писалось о позоре и низости сепаратного мира. Эта фраза сделалась трафаретом для всех выступлений ораторов, от правых до советских социалистов. Но на самом деле — надо признать это — тут было немало благочестивой лжи. В частных беседах у многих проглядывала тоска по немцам, водворяющим порядок. Все жаждали мира. Иногда повторяли злые слова, что союзники готовы воевать до последней капли крови русского солдата.

От недавнего еще восторга перед Керенским не осталось и следа. И справа, и слева, и в центре — его либо

ненавидели, либо презирали. В народе пользовались большим успехом пущенные с обоих крайних флангов рассказы, сколько миллионов Керенский получил от союзников за наступление. Обывательскую массу особенно раздражало, что Керенский поселился в Зимнем Дворце, спит в царской кровати и проч. Интеллигентские круги, близкие к правительству, презрительно называли А.Ф. Керенского новой Александрой Федоровной, намекая на его чисто женскую истеричность. Военные ненавидели его за ген. Корнилова и других "быховских" узников.

3 сентября, явно предвосхищая волю Учр. Собрания, Керенский объявил Россию республикой. На это никто не обратил никакого внимания. Через два дня после этого, впервые, Петроградский Совет р. и с.д. принял предложенную большевиками резолюцию. А еще через 10 дней тот же Совет избрал своим председателем услужливо выпущенного Керенским из тюрьмы Л.Троцкого. Чхеидзе и Церетели поехали к себе на родину, чтобы там, ценою предательства, основать самостоятельное государство, в котором русские были сделаны гражданами второго разряда.

Режим погибал при всеобщем к нему отвращении. Ясно было, что никто пальцем не шевельнет в его защиту, а Керенский продолжал успокаивать близко стоявших к нему Н.М.Кишкина и В.Д.Набокова, что все меры приняты и он ждет выступления большевиков, чтобы решительно с ними расправиться. Когда Н.М.Кишкин и В.Д.Набоков передавали Центр. Комитету партии эту информацию, большинство только пожимало плечами. Кого Бог захочет погубить, у того сначала отымет разум. Слепой поводырь тянул за собой в яму других, всю Россию.

Характерная подробность! Вскоре после разгрома Корнилова большевики устроили такое откровенное и назойливое шпионство за Клубом партии народной свободы на Французской набережной, что пришлось прекратить открытое устройство там заседаний Центр. Комитета. Мы собирались в разных местах полуконспиративно,

памятуя, что и во время бунта 3 июля большевики одной из первых мер ставили захват кадетского центра.

\* \* \*

Захват власти большевиками 25 октября в первые дни на широкие круги петроградского населения не произвел никакого впечатления. Мне всегда припоминался этот факт, когда я читал в документах времен Французской революции свидетельства, что в день казни Людовика XVI три четверти Парижа не знало об этом событии. Впрочем, когда летом 1918 г. в московских газетах появились известия о расстреле Николая II, русское общество отнеслось и к этому совершенно равнодушно. Обстрел Зимнего дворца с "Авроры", заседание гор. думы, попытка гласных ночью двинуться ко Дворцу — все это задевало очень тесный круг людей.

В следующие за 25 октября дни, в связи с разгромом винных лавок, обилием пьяных на улицах, стрельбой и опасением погромов, настроение стало более возбужденным. Слухи о движениях на большевиков Керенского, Савинкова, Краснова живо подхватывались населением, в огромной массе враждебным захватчикам. К ним относились полуиронически. Передавались забавные рассказы, как их встречали в министерствах, как организовывали они там работу при помощи курьеров и швейцаров ввиду саботажа остальных чиновников. Мало кто верил, что эта оперетка продлится более двух-трех недель. Многие из захватчиков сами были насмерть перепуганы тем, что сделали. Зиновьев, Луначарский, Рыков, Милютин и др. пользовались первым попавшимся случаем, чтобы, ссылаясь на разногласия с большинством своего Центр. Комитета, уклониться от власти и ответственности. Не дрогнули Ленин, Троцкий, несколько рядовых военных, входивших в состав Военно-Революционного комитета.

Я не разделял всеобщего оптимизма, так как давно

считал неизбежным пришествие большевиков. В первые же дни, помню, обратил внимание на то, что большевикам удалось охранить общественный порядок и обеспечить снабжение горожан хлебом. Они беспощадно расстреливали пьяных и мародеров, героически уничтожали склады водки и вин и добились того, что октябрьские события вначале не сопровождались в городе какими-либо чрезвычайными бесчинствами, грабежами и убийствами. Зато в провинции и особенно в армии, отголосок получился ужасный. Занятые борьбой с разгромами винных лавок, дипломатией со съездами советов, и в особенности с крестьянским, где Ленин умело использовал левых эсеров, большевики в первые дни не могли организовать систематического преследования своих политических противников. Движение Керенского на столицу скоро закончилось позорным крахом. Казаки держали нейтралитет. Слабые попытки юнкеров, преданных на закланье, были без труда подавлены большевиками. Уличное спокойствие в Петрограде восстановилось. По мере того, как милитарно большевики укреплялись, усиливались и политические преследования. Раньше всего члены Центрального Комитета партии народной свободы были объявлены "врагами народа" и находящимися "вне закона". По смыслу воззваний каждый мог нас безнаказанно убить. П.Н.Милюков и некоторые другие лидеры выехали из Петрограда. Наши министры еще сидели в тюрьме, хотя министры-социалисты и были освобождены. Но заседания Центр. Комитета еще не прекратились. Они только стали совершенно конспиративными. В какой мере, однако, мы неясно понимали еще положение вещей, видно из того, что на каждом из этих конспиративных заседаний присутствовал секретарь, составлявший обширные протоколы. Эти протоколы переписывались нашими барышнями и в декабре чуть-чуть не вызвали катастрофу. В то время А.И.Шингарев был уже арестован и сидел в Петропавловской крепости. Наши партийные барышни имели возможность посещать его, приносить ему передачи, еду, цветы.



Одна из них, дочь видного профессора-экономиста, передала как-то А.И.Шингареву по ошибке вместо пирога довольно толстую пачку протоколов, тоже завязанную в бумагу. Стража, развернув этот "пирог", передала его не арестанту, а крепостному начальству. Вероятно, в протоколах этих ничего криминального не оказалось, так как никаких результатов весь инцидент не имел. Нам всем пришлось, однако, пережить очень неприятные минуты, а виновница "недоразумения" была близка к нервному расстройству, когда вскоре в советских "Известиях" появилась глухая заметка, что в руки властей попали документы, уличающие кадетов... "Известия" и "Правда" неоднократно печатали такого рода торжественные сообщения об уличающих кадетскую партию документах. Все это оказывалось сущим вздором — о кн. Кекуатовой, к кадетам отношения не имевшей, о черносотенном приват-доценте Г., нелепые измышления о подкупе кадетами пьяниц для разгрома винных лавок и т.д.

Члены Ц.К. продолжали еще работать тайно, а городские партийные учреждения действовали даже открыто, хотя в отдельных районах местные совдепы в порядке полуразбойничьих набегов и громили их, уничтожая литературу, захватывая как добычу пишущие машинки и мебель. Не был формально закрыт и партийный клуб на Французской набережной. К общей ликвидации партийных учреждений большевики, по-видимому, еще не решались приступить. Предстояли ведь выборы в Учред. Собрание, а одним из поводов к низвержению "Временного правительства" большевики вначале выставляли обвинение в затягивании созыва "Учредилки".

Моя работа носила, главным образом, характер литературный. Выходила под разными названиями "Речь". Существовало при Центр. Комитете "литературное бюро" для снабжения статьями провинциальных газет. Перед самыми выборами в Петрограде, среди всеобщего молчания, так как большевики к этому моменту закрыли все газеты, мне с А.В.Тырковой удалось выпустить три но-

мера боевой газеты "Борьба". Появление ее произвело на улицах большой эффект. Большевики гонялись за продавцами, рвали и уничтожали газеты, арестовывали мальчишек. Но до того еще плохо была у них организована полицейская часть, что только после выхода третьего номера они разузнали, где газета печатается. Когда отряд красноармейцев с парадного входа заходил в помещение с орденом на закрытие газеты и арест редакторов, я — по черному успел еще уйти из типографии. Полицейскому искусству г.г. большевики научились довольно скоро. При дальнейших обысках и арестах они всегда прежде всего справлялись у домового уполномоченного, сколько в доме выходов, и спешили занять стражей все. Но даже петроградским чекистам потребовалось два года, чтобы догадаться о необходимости останавливать автомобиль за один-два квартала до места обыска. Гудение автомобиля среди жуткой тишины петроградских улиц неоднократно предупреждало намеченные жертвы, спешившие принять необходимые меры.

Наблюдал я, как большевики практически обучались искусству "полиции прессы".

И тут, как во множестве других случаев, они довольно скоро догадались, что лучше царских учреждений не выдумает. Володарский, Лисовский, Харитонов на разные лады копировали начальников Управления по делам печати Феоктистова, Соловьева с разной степенью наглости и невежества. Они пытались восстановить даже 144-ю статью сначала в виде совета не касаться того или другого вопроса, а затем и прямого приказа. Даже соловьевская мысль о назначении редакторов была воспринята коммунистическим начальством. Штрафы во все увеличивающемся размере стали одним из любимых орудий воздействия на печать. Коммунистические цензора очень быстро сообразили и то, что надо бороться с "духом" газеты, с "подбором" фактов, с "тоном" отношения к новой власти. Можно было и порицать, но это должно было делаться с оттенком уважения, а главным образом, без

скрытой подоплеки: "мы" и "они". У коммунистов-интернационалистов самое страстное желание сводилось к тому, чтобы враждебная им печать обращалась с ними как с властью национальной. Первый десятитысячный штраф (тогда еще очень большая сумма) наложен был на "Наш век" за мою передовицу, в которой говорилось, что коммунистические мероприятия по домовладению приведут только к единственному результату — к замене русских домовладельцев иностранными капиталистами.

Так как в этом, важнейшем для коммунистов, пункте им не удалось поработить печать, продолжавшую намерками и тоном, подчеркиванием интернационалистской словесности вождей отрицать за коммунистической властью характер национальной, то ни о каком длительном существовании независимой печати не могло быть и речи. Десятитысячные штрафы сменились сотысячными. Монополизацией объявлений, вмешательством в снабжение изданий бумагой, давлением типографских рабочих было сделано невозможным появление новых газет. Старые закрывались одна за другой. Но некоторые все-таки держались и, несмотря на отсутствие доходов от объявлений, существовали только розничной продажей. Обыватель платил в четыре-пять раз дороже, но не желал брать в руки коммунистической газеты. Последняя не могла выдержать конкуренции ни с какой, даже самой скверной газетой, но носившей хотя бы облик независимости. Было как-то время, когда большевики закрыли все газеты, кроме "Петербургской газеты", в которой некий художник Фома Райлян с большим цинизмом и наглостью, поддельваясь под коммунистический стиль, восхваляя Ленина и Троцкого, ругательски ругая Керенского и Милюкова, проводил, в сущности, черносотенные и антисемитские идейки. Газетка сразу побил рекорд и стала далеко впереди всех советских изданий. Коммунистические власти, испугавшись, прихлопнули и ее.

"Течения" среди правящих коммунистических кругов менялись очень часто. Временами, когда властям грозила

какая-либо особая опасность, они прикрывали всю некоммунистическую печать, но сначала "временно". Затем, когда эта власть, более чем всякая другая склонная к панике, несколько "отходила", она разрешала те или иные издания. Но какие? Тут-то и шла борьба мнений. Одни стояли за разрешение печати бульварной, беспринципной и порнографической, но беспартийной и аполитичной. Другие, наоборот, стояли за необходимость оставления только "серьезной политической печати" с полным упразднением бульварной. Была, например, неделя или две, когда в Петрограде выходил один кадетский "Наш век", все другие издания были закрыты, и коммунисты очень гордились своим либерализмом... Этот "либерализм" был таков, что наш редактор М.И.Ганфман, чрезвычайно выдержанный и осторожный человек, прекрасно изучивший "дух" всех бесчисленных цензурных режимов в России с 90-х годов XIX века, неоднократно вздыхал: хоть бы закрыли... Коммунистический "либерализм" не выдержал переворота, произведенного гетманом Скоропадским на Украине. Снова вся газетная печать была закрыта. Затем, недели через две, новый припадок либерализма. "Наш век" снова появился в свете, пока, в начале августа, испуганная коммунистическая рука не придавила его окончательно. Некоторое время пытались выходить еще разные журналы и журнальчики. Овладев типографиями, советская власть добралась и до них. С конца 1918 до середины 1921 г. в России царил полный коммунистический рай: кроме коммунистической — периодической печати никакой. И так она надоела и опротивела даже самим коммунистам, что и те были рады, когда вместе с "нэпом" стало воскресать подобие независимой печати, хотя бы в виде чисто литературных журнальчиков. Первый блин, впрочем, вышел комом. Получено было разрешение на выпуск еженедельной "Литературной газеты". Но какой-то типографский шпион доставил корректурные гранки предполагавшегося первого номера в Чеку. Там прочли передовицу о дельвиговской "Литературной газете", не

выдержавшей гнета Николая I, усмотрели в ней недозволенные намеки и послали отряд чекистов с приказом разбить стереотипы, уничтожить матрицы и отобрать разрешение на выпуск. Так "Литературная газета" и не вышла.

Русские литераторы живучи. Они еще понизили свой тон, перешли на язык николаевской прессы времен Бутурлинского Комитета, стали сводить все на беллетристику и литературную критику. Коммунисты ввели прямую предварительную цензуру. Несколько журналов все-таки появились на свет Божий, пока в августе 1922 г. не было принято решение всю старую литературу и вообще всех писателей, не верующих в Маркса и его "Капитал", выслать за границу.

С окончанием выборов в Учр. Собрание большевики прикончили и последние остатки открытой политической деятельности в Петрограде. Центральный партийный клуб и районные отделения были закрыты, разгромлены. Имущество расхищено. Нахождение при обысках партийного кадетского билета становилось уже делом опасным. Все сколько-нибудь заметные кадеты вынуждены были скрываться, не ночевать дома. Выходил только время от времени "Наш век", причем периоды закрытия, чередовавшиеся с периодами выхода газеты в свет, становились все длиннее. И все-таки партийные работники находили возможности иногда выступать, читая лекции, доклады без подчеркивания партийной марки.

Мы вошли в стадию похорон. Хоронили Г.В.Плеханова, хоронили Учредительное Собрание, легальную политическую работу, Кокошкина и Шингарева, хоронили Россию — после Брестского мирного договора...

На похоронах Г.В.Плеханова рядом со мной, несшим зеленый кадетский венок, шла маленькая депутация от Союза Михаила Архангела, обращавшая на себя всеобщее внимание. Двое юношей, сложив стулом кисти своих рук, несли небольшой крест, красиво перевитый зеленым плющом. На кресте надпись:

Русь диктовала б мир своим врагам в Берлине,  
Когда б народ наш шел путем, указанным тобой.

В.Пуришкевич

За двумя юношами с крестом шла еще пара сменщиков.

Красных венков, красных лент, красных цветов и красных знамен на похоронах было очень много. Несколько зеленых кадетских венков и флагов тонули в этом красном море. Но рабочих не было на похоронах отца русской социал-демократии. Рабочие не пришли демонстративно. Приказ коммунистов оказал поразительное действие. Через несколько месяцев, по приказу тех же коммунистических вождей, на похоронах Володарского были не только войска всех родов оружия, чуть ли не весь петроградский гарнизон, но и многие десятки тысяч рабочих пришли проводить труп молодого, никому не известного еврея, с год тому назад прибывшего из Америки. Когда я слышал разговоры о классовом самосознании русского пролетариата, я всегда припоминал врезавшееся в мой мозг сопоставление двух похорон. Обо многом свидетельствует оно, давая яркие штрихи для характеристики психологии русского рабочего, но о классовом самосознании, во всяком случае, не говорит.

Еще более печальной вышла январская демонстрация в честь Учредительного Собрания. Люди делали вид, что не то торжествуют, радуются и приветствуют "сбывшуюся, наконец, столетнюю мечту русской интеллигенции", не то "готовятся к бою", а на самом деле хоронили... идею Учредительного Собрания по всеобщему, прямому, равному и тайному.

Не без больших усилий удалось собрать со всего Петрограда 50—60 тысяч человек, решившихся шествовать по петроградским улицам, несмотря на угрозу большевистских штыков и пулеметов. Среди этих демонстрантов было тысяч десять и рабочих, выступавших в разных местах. Но основную массу вышедших на улицу людей составляла

интеллигенция, студенчество разных школ. Не знаю, как держали бы себя эти совершенно безоружные демонстранты, если бы сбылись упорные толки о готовившемся на то же время вооруженном выступлении социалистов-революционеров "для поддержания Учредительного Собрания". Хотя назывались и имена полков, будто бы решивших "выступить", и названия заводов, уже выславших свои боевые дружины, я отлично помню, как за все четыре часа, проведенные в рядах манифестантов, у меня ни на одну минуту не было сомнения, что ничего не будет, что это только торжественные похороны по первому разряду. В толпе не чувствовалось ни малейшего энтузиазма. Огонь жертвенного самозаклания не веял над толпой, хотя в двух-трех местах встреча ее с большевистскими отрядами сопровождалась стрельбой с убитыми и ранеными. За Учредительное Собрание не хотели умирать. Эта идея не была идеей-силой. Когда ранним утром следующего дня В.М.Чернов по приказу матроса Железнякова послушно покинул председательское место и, сопровождаемый остальными депутатами, пошел в ночной темноте бродить по петроградским сугробам, отыскивая, где оскорбленному есть чувству уголок, он наложил лишь последний штрих на картину.

Столетняя мечта нескольких поколений интеллигенции. Что с нею случилось! В каком виде она осуществилась! И не было возможности в утешение себе сослаться даже на какого-либо Стольпина. Все сделали кронштадские матросы, те, которые в 1905 и 1906 годах умирали за Учредительное Собрание. Знали ли они тогда, за что умирали?

\* \* \*

Ранним утром на следующий день я вышел прогуляться. Помещение редакции было недалеко, и как-то незаметно я очутился на ул. Жуковского. Неожиданно на встречу попадает замещавший редактора М.И.Ганф-

ман. На нем лица нет.

— Идемте вместе. Кажется, случилось большое несчастье.

— В чем дело?

— Сторож из Мариинской больницы только что прибежал в редакцию и говорит, что там ночью убили министров-кадет. Мне дали знать.

М.И.Ганфман жил в двух шагах от редакции, Мариинская больница помещается тут же. Через минуту мы уже были в больнице и узнали от сестры, что ночью, когда недавно перевезенные А.И.Шингарев и Ф.Ф.Кокошкин уже спали, в больницу ворвалось несколько вооруженных людей, прошли к ним в комнаты, взяв фонари, и выстрелами из револьверов убили обоих. Нас повели в мертвецкую, куда уже снесли голые трупы. Они не были еще ничем прикрыты. Лицо Ф.Ф.Кокошкина было спокойно: его убили во время сна. А.И.Шингарев, видимо, мучился. Это убийство двух членов Учредительного Собрания довершало картину убийства самого учреждения, долженствовавшего воплощать народную волю.

Вернувшись в редакцию, мы вызвали, кого могли. Прежде всего, кажется, гр. Панину. Трупы убитых были обмыты, одеты, перенесены в часовню. Весть о преступлении быстро распространилась по городу. Часов с девяти в часовне и около больницы толпился народ. Тут же шныряли разные подозрительные субъекты, подслушивавшие разговоры и агитировавшие в кучках:

— Чего жалеть! Двух буржуев убили. Всех бы их так. Помогали Керенскому воровать и Россию вместе продавали. Шингарев, министр финансов, один двенадцать миллионов взял...

Когда матросу стали возражать, что все эти рассказы лживы, что убитые были бедные труженики, что Шингарев, например, с большой семьей жил на Монетной в пятом этаже в квартире из четырех маленьких комнат, агитатор, точно одержимый, стал кричать:

— Известно, прикидывался бедным, чтобы людей мо-



рочить. Знаем мы вас. И вы такие же, капиталиста-министра защищаете. Всех вас, кадетов, давно пора в штаб Духонина. Объявлены вне закона пролетарской власти, значит, есть за что. Тоже у нас наверху не глупее вас люди сидят...

Он находил в кучках сочувствующих. Спорить с ним становилось небезопасно. Всмотривался я в эти горящие ненавистью глаза. Слушал эти слова, казалось бы, красные по звукам, но столь черные по содержанию. Вспомнил мягкий образ покойника, типичного русского земского врача-бессребренника и народника, воистину жизнь и душу свою полагавшего за темный народ, который за это платит ему ненавистью и бессмысленной клеветой. Матрос на вопросы в конце концов ответил, что 12 миллионов Шингарев взял от союзников за содействие Керенскому в устройстве наступления.

Непосредственные виновники убийства были тотчас же обнаружены и некоторые из них даже посажены в тюрьму. Ленин на первых порах забил тревогу и начал настаивать на "правосудии". Но он недолго порол горячку. Были пущены в ход какие-то пружины, и дело совершенно заглохло. Арестованных, непосредственных убийц, скоро выпустили. Вдохновителей искать перестали. Те и другие продолжают и по сию пору служить в чрезвычайках и не раз еще обагрят свои руки человеческой кровью. Темные слухи продолжают и по сие время утверждать, что неизвестно, с чьей стороны, с левой или с правой, шло подстрекательство к убийству. Как бы то ни было, коммунисты лишились права попрекать старую власть убийствами Герценштейна и Иоллоса. Не только предательским характером убийства больных людей в больнице, но и цинизмом неправосудия и безнаказанности убийц правительство Ленина еще на заре своей туманной юности побило все рекорды.

Понятно, в какой сгущенной атмосфере происходили похороны убитых. Несколько тысяч человек да духовенство с епископом во главе решились проводить по-

койников до Александро-Невской Лавры и отдать им последний долг, несмотря на тревожные слухи о предстоящем нападении на процессию. Слухи не оправдались. Порядок все время соблюдался образцовый. Очевидно, власти никакого погрома не желали. С 1905 года я имел возможность неоднократно наблюдать наши уличные беспорядки и пришел к глубокому убеждению, что принять сколько-нибудь большие размеры они могут только при попустительстве властей.

Сейчас же после похорон убитых мы стали готовить сборник, посвященный памяти Ф.Ф.Кокошкина и А.И.Шингарева. Но выпустить в свет удалось только "Дневник А.И.Шингарева", начатый им в Петропавловской крепости. Большинство статей для сборника были написаны, отправлены в Москву, там поступили в набор, но книга, вследствие разгрома "национализированной" типографии, появиться не могла.

\* \* \*

После убийства Шингарева и Кокошкина жить партийным людям стало еще труднее. Видные кадеты спешно разъезжались. Кто оставался, должен был прятаться и гримироваться. Ф.И.Родичев, например, приняв обличье бедного мещанина с густой окладистой бородой, живя непрописанный, с юмором рассказывал нам, как он в таком виде попал ночью в комендатуру и выскользнул оттуда только благодаря благодушию безграмотного помощника коменданта. Тот размышлял, не отправить ли ему арестанта на Гороховую, но решил отпустить домой: простой, по-видимому, человек...

Начались мирные переговоры. В тот момент, когда Троцкий сделал свой жест: войны не вести, мира не заключать, в Петрограде ждали пришествия немцев и встретили бы их как избавителей. Симпатии к союзникам уступали место все резче обозначавшемуся немецпоклонству.

Помню, какое впечатление производили рассказы о том, как Полоцк был взят взводом немецких солдат с одноруким капитаном во главе, как тысячные отряды красногвардейцев бежали под натиском одного немецкого эскадрона и т.д. В печати, где только возможно было по внешним условиям, еще продолжали говорить о национальном позоре, о гибели родины, о патриотизме. Но я беру на себя смелость утверждать, что, кроме небольших групп офицерства и высокоразвитой интеллигенции, никто в действительности этих чувств не испытывал. Можно поэтому себе представить, как мало популярны были все попытки, прямо или косвенно имевшие в виду возобновление войны с немцами. Русский народ не желал больше с ними воевать, хотя и нашел еще в себе силы для междоусобной братоубийственной войны. Как ни тяжело это для национального достоинства, но ни один правдивый летописец начала 1918 г., по крайней мере из живших тогда в Петрограде, не станет отрицать господства в нем подобных настроений.

К большевикам по-прежнему, несмотря на постепенное прекращение чиновничьего саботажа, петроградцы относились с ненавистью и презрением. О власти говорили не иначе, как "они". Что там еще "они" выкинули, что выдумали, какое новое злодейство совершили? А "они", склонные к панике и истерике, сами не веря, что еще существуют, и недоумевая, почему это происходит, неслись куда-то в неизвестное, поверив в Ленина и следуя за каждым мановением его руки.

То, о чем с 40-х годов мечтали славянофилы, чего требовал И.С.Аксаков в 1881 г. и что рекомендовал в своих первых, еще марксистских, статьях в "Новом слове" 1897 г. П.Б.Струве, чего при всем своем желании не могли осуществить Н.М.Кишкин и А.Ф.Керенский в сентябрь-октябре 1917 г., — то почти без затруднений провели Ленин и Троцкий в 1918 году. Они вернулись, как звал Ив.Аксаков, "домой", перенесли столицу из Петрограда в Москву.

История вообще не скупа на шутки. Если социалистам она поднесла подарок в виде ленинского коммунистического государства, то и славянофилов она не обидела, дав им из рук того же Ленина и возвращение в "первопрестольную", и торжество древнего исконно русского земско-соборного начала над гнилым западноевропейским конституционным парламентаризмом.

Перенесение столицы не вызвало головокружительного потрясения. Все обошлось гораздо спокойнее, чем ожидали. Советские учреждения уже в Петрограде привыкли к постоянным переездам. Переселяться из одной квартиры в другую, не всегда даже успевая менять вывески соответственно перемене названия, — было одним из их любимейших занятий. Ни особых традиций, ни архивов они не накопили. Новое чиновничество было легко подвижным, старое — частью исчезло, частью притаилось. Освободившиеся за отъездом в Москву учреждения были тотчас же, даже в избытке, возмещены другими, действовавшими в пределах то Северной Коммуны, то Петрограда. Чиновничьей безработицы перевод народных комиссариатов в Москву не вызвал, и все обошлось благополучно.

Разжалованный Петроград был возглавлен Зиновьевым и сделан центром Северной области или Коммуны. Он очутился приблизительно в таком же положении, как Москва при генерал-губернаторе вел. кн. Сергее Александровиче. Центральные законы действовали на территории Петрограда только с дозволения местного градоправителя. Что же касается московского всероссийского начальства, то оно в Петрограде власти вовсе не имело. "Нам Москва не указ" — от зиновьевских чиновников не раз приходилось слышать такие слова. Петроград развивал свое коммунистическое законодательство, строил свое социалистическое общество. Он, так сказать, шел впереди и был реалистичнее. В Москве бредили всероссийским учетом, сочиняли планы, в силу которых вся страна работала бы по указке из Москвы, в Москву присылала бы все про-

дукты своего труда и из Москвы получала бы следуемую каждой местности долю. В Петрограде смотрели на дело трезвее: надо брать откуда только можно, а свой социализм проявлять при распределении, ущемляя буржуя. Петроград первый ввел распределение хлеба "по категориям", причем Зиновьев старался лишь как можно сильнее подчеркнуть то, что было оскорбительного в этой мере. Так, установив четвертую категорию граждан и пообещав выдавать ей по 1/8 фунта хлеба на два дня, Зиновьев прибавил в своей речи: мы сделали это для того, чтобы они не забыли запаха хлеба. Всеобщая трудовая повинность нигде не осуществлялась с такой бессмысленностью и садизмом, как в Петрограде. Там иностранцы могли любоваться, как пианистки и скрипачи из консерватории портили себе пальцы за непосильным для них трудом скалывания льда с тротуаров. В Петрограде в день или накануне какого-то революционного праздника сотни "буржуев" были согнаны в казармы для уборки конского и человеческого навоза под торжествующее гоготание солдат.

Все эти меры однородны и продиктованы были одним желанием — демагогически поиграть на темноте и злобе народной массы, злорадствующей над унижениями тех, кого вчера еще она считала выше себя.

Петроградские заводы дали коммунистической партии численно наибольшие и качественно наилучшие ее пролетарские кадры. Петроград рассылал во все стороны боевые и продовольственные отряды для борьбы с белыми и для отбирания у крестьян хлеба. Что же касается производства, то об этом много говорили, но ровно ничего не делали. Кроме производства зажигалок из пустых патронов, петроградская промышленность за коммунистический период ничем не обогатилась. Да и зажигалки рабочие готовили крадучись, на вольный рынок, из ворованного казенного материала, а вовсе не во исполнение всероссийского производственного плана, сочиняемого Лурье-Лариным.

Зато в ущемлении "буржуя", в издевательствах над каж-

дым образованным, сморкавшимся в платок и избегавшим матерщины человеком Петроград шел впереди, указывая пути и Москве, и всей России. Впрочем, дороги были проложены еще раньше... законодательством о евреях. Когда коммунисты стали "строить" свои "домкомбеды", приемы в низшие, средние и высшие школы, нормировку квартирной платы и т.п., они взяли ограничительные нормы против евреев и применили их ко всем "буржуйам" в самом распространительном и произвольном толковании слова. "Буржуй", как известно, не мог быть председателем домового комитета, а в члены комитета допускался по проценту, как и в школы. Квартирная плата с "буржуя" бралась в размере от двух до десяти раз больше, чем с пролетариев и совработников. Так же облагались дети "буржуев" в школах. Для "буржуя" существовали специальные налоги и повинности. А главное, он был вообще существом, не пользовавшимся прямой защитой закона. Закон применялся к нему лишь поскольку данный буржуй признавался полезным для советского государства, а признание этой полезности могло быть оспорено каждым учреждением и взято обратно в каждую минуту. В этом же административном произволе заключалась, как известно, сущность и русского законодательства о евреях.

Таково было направление петроградского законодательства до самого последнего момента, т.е. и при нэпе. Можно легко себе представить, что было вначале, в 1918—1919 годах. Постепенно, по мере того, как укреплялась большевистская власть, их органы политического сыска усиливались старыми безработными царскими агентами, ознакомившими коммунистов с прогрессивной техникой дела. У большевиков в ЧК появились карточки, схемы, фишки. Увеличивался круг людей, подпадавших под систематическое наблюдение. Становилось очевидным, что мое свободное проживание в Петрограде подходит к концу. Круг знакомых, остававшихся здесь, все редел и редел.

Всякий раз, когда в коммунистических газетах появлялось сообщение о раскрытии нового "кадетского заговора", встречавшиеся со мной на улице спрашивали:

— Как, вы еще здесь? Это неблагоприятно...

Я и сам сознавал, что неблагоприятно. Но ехать за границу, а оттуда куда-либо в свободную Россию не было денег. Было и другое ощущение: я уже давно разочаровался в союзниках, был убежден, что до России им мало дела и — даже более — сильная Россия кое-кому уже мешала. Если бы я был каменщиком или дровосеком, я мог бы добывать себе хлеб вне всякой политики. Для журналиста это немыслимо. Значит, пойти к кому-либо на службу... Было тяжело. Решиться на это я не мог.

Благодаря вмешательству немцев, сов. власть официально находилась в мирных или полумирных отношениях к Украинской Державе гетмана Скоропадского. Жена моя — природная малороссиянка, дети родились в Одессе — все основания для переезда на Юг, где живут и родители жены. Надо ехать. Но это оказалось не так просто. Набережная у Украинского консульства всегда переполнена многосотенными очередями, выстраивающимися с 7 часов утра. Немало и хороших, и дождливых, и холодных утр провел и я в этих очередях. Приносил украинским властям и документы (все больше копии, оставляя подлинники у себя на руках, на всякий случай), и фотографические карточки, платил деньги. Всего им было мало. Каждый раз они находили, что еще чего-то не хватает, и я снова должен был проделывать очередную кампанию, сперва на набережной, затем у дверей, после во дворе и, наконец, в самом помещении. Мне так и не удалось собрать все нужные документы, и я это дело бросил.

\* \* \*

Наступал ноябрь 1918 г. по новому стилю. 7-го предполагалось с особой торжественностью отпраздновать

первую годовщину октябрьской революции.

Программа была объявлена уже за неделю. На улицах — манифестации, шествия, иллюминации, передвижные театры под открытым небом, музыка, танцы, фейерверк. Митинги. Торжество на Марсовом поле с речами на могилах жертв революции. Но главное не тут. Главное, о чем писали в советских газетах и говорили в публике, сводилось к тому, что на этот день гражданам будет выдано кроме нормальной порции в 1/4 или в 1/2 ф. черного хлеба еще по... белой булке. В газетах был ряд противоречивых сообщений о том, граждане каких категорий получают эту булку. Сначала сообщалось, что она будет выдана только едокам 1-й и 2-й категории. Затем прибавили, что и гражданам третьей категории булка будет выдана, только позже и из муки худшего качества. "Буржуи" 4-й категории булки не получают. Солдатам она будет выдаваться в казармах. О качестве булки говорили одни, что она напомнит старую пятикопеечную французскую булку, другие — что это будет старый ситный хлеб с изюмом. Пусть читатель не подумает, что я шаржирую. Нет, советские граждане уже в то время в такой мере были ошарашены свалившимся на их голову социалистическим строительством и голодовкой, что об этой "белой булке" действительно говорили днями, старательно комментируя все сведения советской печати...

Город украшался, конечно, в красный цвет. Все было затянуто красными полотнами. Футуристы выставили какие-то плакаты: ноги шли отдельно, голова оставалась позади, руки, тоже независимо от туловища, болтались где-то наверху. Было красиво и красно. Особенно запомнился мне огромный красный колпак, надетый на думскую каланчу: точь-в-точь как у клоунов в цирке. Колпак с широкими полями, только в огромных размерах.

Полюбоваться самим празднеством мне не удалось. В ночь на 5 ноября к дому подъехал автомобиль. Минуты через три у меня уже были гости: студент-психоневролог, два-три комиссара из матросов, четверо солдат. Начали



рыться в бумагах, которых у меня было немало: рукописи, корректуры, оттиски журнальных статей.

Ревностный студент отбирает все и откладывает в сторону. Набралась уже целая гора.

— Что вам, собственно, надо? Ведь это, большею частью, авторские оттиски статей, напечатанных лет 10—15 тому назад, а то и раньше.

— Они нам и нужны. Вы ведь писатель, и мы хотим ознакомиться с вашей литературной физиономией.

— В первый раз слышу, чтобы для этой цели надо было ночью приезжать в квартиру, подымать на ноги всю семью, производить обыск и грозить арестом. Гораздо проще пойти в Публ. Библиотеку, взять старые журналы и газеты и прочесть, что я писал.

Студент завял: мы — люди маленькие, делаем, что нам приказали.

— А я думал, что в социалистическом государстве нет ни больших, ни малых людей и каждый поступает по своему разумению.

Студент рассердился: я приехал не выслушивать ваши насмешки, а обыскать и арестовать вас...

— Делайте зачем приехали...

Обыск длился часа три. Затем мне предложили одеться и следовать в комендатуру. Один из комиссаров успокоил жену: завтра же выпустят, не стоит и подушки с собою брать.

Меня отвезли, действительно, в комендатуру Суворовского района, провели по ряду просторных светлых комнат в подвальный этаж, где и поместили в темной, без всякой мебели, без окон, длинной и узкой комнате, служившей когда-то барской кладовой при кухне. Тут же рядом была и эта кухня, хотя и расположенная в полуподвале, но с окнами, светлая и большая. Пустая кухня была заперта, а нас все время держали, никуда не выпуская, в кладовой, пока, наконец, сгрудившиеся в ней 40 человек, почти задохнувшиеся, не стали шуметь и требовать коменданта.

Наконец явился и комендант, простой солдат. Последовала сначала маленькая перепалка с употреблением крепких слов:

— Какая еще кухня! Где кухня? Что еще врете?

Его ткнули носом в запертую кухню. Он почесал затылок и сдался:

— Ну, ладно, прикажу поискать ключи. Ежели найдут, открою...

Полчаса искали ключи. Нашли. К рассвету мы разместились на полу обширной барской кухни и людской. Мы уже ознакомились друг с другом и поняли, почему были арестованы. Арестовывали по спискам кандидатов в гласные петроградских районных городских дум 1917 г. Это были первые выборы по всеобщему, прямому, равному, тайному голосованию. Перед выборами велась агитация. Партии, желая блеснуть, выставляли, как говорилось, для "окраски списков", имена и своих знаменитостей и просто беспартийных, но очень популярных специалистов. Большевики тоже принимали участие в выборах, а теперь превратили их в западню. Взяли афиши от партий народной свободы, трудовиков и социалистов-революционеров и, воспользовавшись указанными там адресами кандидатов, произвели повальные обыски и аресты. Было, правда, несколько человек, ни в каких списках никогда не значившихся. Но это видимое исключение только подтвердило правило. Так, дворник, убивавшийся, что у него осталось дома без матери шестеро ребят, оказался братом "кандидата", давно уехавшего в деревню. Одна из запрещенных женщин была определенно взята вместо умершего брата — "кандидата", взята "впредь до выяснения справедливости ее слов". Наконец, горничная, долгое время не понимавшая, за что же ее взяли, вспомнила, что действительно как-то летом в прошедшем году господа записали ее в какой-то "трудоу список". Эта случайно обнаружившаяся маленькая тайна соиздания демократических кандидатур партии трудовиков встречена была не без язвительных насмешек. Были, понятно, и простые случаи чис-

то пошехонских недоразумений. Так, некто Ш., вышедший проводить своего отца, был в комендатуре задержан и, пока суд да дело, просидел три недели вместе с нами. Когда его, наконец, освободили, следователь не считал даже нужным извиниться. Еще бы: могло быть и хуже.

Из арестованных мало кто догадался взять с собой постель и пищу. Поэтому уже с утра родственники и знакомые стали осаждать комендатуру. Осада увенчалась успехом. Сперва разрешили передачи, затем свидания на расстоянии, а потом и на лестнице, ведущей в подвал. Стражи, получив кое-что из продуктов, совсем размякли. Мы узнали, что в городе произведены массовые аресты гласных. Коммунисты боятся восстания, а потому решили изъять всех лиц, которые могли бы возглавить мятежную попытку и создать орган городского самоуправления. Как только праздники пройдут спокойно, нас немедленно выпустят. Среди арестованных много академиков, профессоров, врачей, богатых купцов, инженеров, много лиц, ныне занимающих видные посты на советской службе. Аресты вызвали в городе большое волнение. В Чека успокаивают, говорят, что очень скоро выпустят.

Вечером нас под слабым конвоем отправили в б. Военную тюрьму, что на Нижегородской ул. Тюрьма оказалась уже переименованной в какое-то исправительно-трудовое учреждение, причем тюремные надзиратели тоже получили какое-то сентиментально-благодущное название, чуть ли не воспитателей. По существу же во главе тюремной администрации остались старые служащие, поддерживавшие прежние порядки, но про себя решившие, что особенно усердствовать не стоит, и за подачки охотно делавшие разные поблажки. Но бывали минуты, когда старшему надзирателю, не то спяна, не то по какому-то нагоняю, приходило на ум навести порядок. Камеры тогда запирались на ключ; по гулким коридорам, выстроенным из одного железа, неслась густая скверная ругань, бряцало оружие, щелкали затворы. Затем воцарялось тяжелое молчание. Публика вначале была, большею

частью, интеллигентная и предпочитала в такие минуты со стражей не говорить. Проходило часа два-три, и снова открывались камеры, заключенные ходили друг к другу в гости, даже в другие этажи. Три раза в неделю нам приносили передачи. Мы могли писать и получать письма. Кроме официальных сношений были и неофициальные. Словом, в первые две-три недели пребывание в Военной тюрьме напоминало жизнь в гостинице... для тех, у кого были средства получать с воли, что ему было надо. Страдали не заключенные, а их родные, вырывавшие кусок у детей, чтобы отнести томившемуся в безделье отцу.

Не успели нас привести в тюрьму, как уже начали освобождать. Первыми были освобождены, насколько я помню, В.В.Водовозов и М.Я.Пергамент. Всех арестованных "по списку гласных" в тюрьме на Нижегородской улице было 212 человек. Из них, как я уже сказал, далеко не все были членами тех партий, по спискам которых они шли. Было много видных специалистов, врачей, педагогов, подрядчиков, купцов, инженеров, техников, археологов, строителей, очень ценных для развития и поддержания городского хозяйства, но совершенно не интересовавшихся политикой.

На них арест произвел чрезвычайно сильное впечатление.

— Спасибо, научили. Нет, теперь уже меня ни на какие выборы калачом не заманишь. Довольно! Показали нам, что значат выборы...

Походило на самом деле на то, будто крайние правые, которые, по обывательской легенде, все время незримо работали за спиной большевиков, дали им задание отбить у нашей либеральной интеллигенции охоту соваться в общественные дела. Избытком гражданского мужества все эти хорошие специалисты, но смиренные люди, никогда не отличались. А тут большевики им показали, что согласие дать свое имя на помещение в списке кандидатов в гласные вовсе не такая законная и невинная вещь, как казалось. Они даже в гласные не прошли, а в тюрьму попали, и

что дальше будет, неизвестно.

То и дело приходилось слышать такие речи: "Ну, я понимаю, взяли вас или Н.Н. Вы — видные кадеты, писали, говорили против большевиков. Но меня-то за что? Я ведь ни слова не сказал и не написал. Только что дал свое имя в список. Теперь уже, шалишь, умнее буду..."

\* \* \*

Первую годовщину октябрьской революции мы провели в тюрьме. Если память мне не изменяет, советская власть и нам даже выдала по знаменитой белой (точнее серой) булке, о которой неделю говорил "весь Петроград". Вообще же кормили очень плохо. Хлеба давали по полундла, иногда три четверти. Суп был пустой, без гороха — его выбирали себе надзиратели на кашу, с селедочными головками, но без селедочного мяса. Давали зато кофесуррогат и сахару. Без передач нельзя было прожить и недели. Несчастных, не имевших передач, было немало. Их кормили более состоятельные арестанты. В тюрьме было чисто. Давали хороший кипяток. Не было скученности: жили по одному, по двое в камерах, при возможности гулять по коридору. Желаящие вызывались на работы на чистом воздухе. В сущности, это был вид прогулки. За недостатком пил, колунов и лопат — работы по пилке и носке дров или по уборке огорода хватало только на десятую часть желавших. Библиотеки в тюрьме не было, церковь разорена и забита, но книги можно было получать из дому и возвращать их обратно, а протоиерею Чельцову не препятствовали устраивать у себя в камерах богослужения для желающих.

Дня через два приехали в тюрьму целым табунком следователи из Чеки. Камеры заперли, и начались вызовы на допрос. Следователи были разные: рабочий, матрос, интеллигент, полуинтеллигент. Одни допрашивали очень вежливо, не без язвительности, другие — грубо, ругались и

кричали. Было тут, как и в старой России, когда полиция вежливо разговаривала с образованными и была по морде простонародье. Следователи-коммунисты позволяли себе еще кричать и на купцов, но перед державшим себя с достоинством интеллигентом как-то никли и пасовали.

Меня допрашивал следователь Отто, из латышей, вероятно, со средним образованием. Допрос носил характер формальный. Из лежавшего перед ним "дела" Отто знал, что я — член Центр. Комитета к.-д. партии, сотрудничал в "Речи" и "Русской мысли". Я не отрицал. Он спросил, было, у меня, каковы планы кадетской партии и что я думаю о белой армии. Я отвечал, что, живя в Сов. России и читая только советские газеты, я не имею достаточно материала для ответа на эти вопросы. Он попытался еще спросить меня, какой я держусь "ориентации", но получив ответ: "русской", возразил: такой не существует. — "Если я ее держусь, значит, для меня она существует..."

Дав мне подписать краткий протокол, Отто сделал на повестке какой-то значок, позвал надзирателя и, сказав ему: "проводите", обратился ко мне: о результатах скоро узнаете. В это время в камеру зашли другие следователи, собиравшиеся уезжать, и один из них, высокий, в папаче, указывая на меня пальцем, сказал: "Когда эти будут у власти, а мы в тюрьме, они, черта с два, к нам сюда не придут, а к себе с конвоем потянут".

Каждый день выпускали по несколько человек. Ездили следователи. Допрашивали недопрошенных, а сидевших купцов почему-то допрашивали по два и по три раза. Они несколько волновались и тайком признавались, что нажали, где следует, винты. Отпустили и их. Из всей компании в 212 человек оставался в тюрьме всего только 31 человек, преимущественно из бедняков-интеллигентов. Начали приводить в тюрьму новых сидельцев. Привели несколько юных морских офицеров, компанию интеллигентов, взятых за карточной игрой, большую группу крестьян Новоладожского уезда, обвиняемых в бунте, нескольких студентов из студенческого сельскохозяйст-

венного кооператива под Лугой, ставших жертвою доноса, рабочих эсеров и анархистов, кронштадтского анархиста Блейхмана, когда-то призывавшего матросов "вспарывать животы офицерам", группу просто уголовных преступников.

Состав тюрьмы резко изменился. Стали меняться и порядки. Казенная пища была плоха по-прежнему, но строгости усиливались. Стража или воспитатели ругались гораздо чаще и резче. Запрещено было ходить из одного этажа в другой. Мы все, первые засельники по делу "гласных", сгруппировались в четвертом, самом верхнем этаже и пользовались еще некоторыми льготами. Но в других коридорах начали уже на целые дни запираить камеры, постепенно переводя арестованных на настоящий режим одиночного заключения.

"Результаты" допроса мне все оставались неизвестными. А слухи ползли нехорошие. Жене и хлопотавшим обо мне отвечали, что не сегодня-завтра выпустят, а стороной меня извещали, что вышлют куда-то на север, за Вологду. Из 212 арестованных осталось всего четверо: я, один очень богатый хлеботорговец Г., бедняк учитель А. и техник Ф., у которого при обыске конфисковано было 25 т. рублей царскими деньгами.

Был уже декабрь. Стояли морозы. Однажды в обед, вместо обычной жидкой бурды, нам дали густой суп из чеcheвицы. И по тюрьме поползли слухи: сегодня высылают... Хлеботорговец, у которого были конспиративные сношения с волей, шепнул мне, что надо готовиться к отъезду, по-видимому, в Вологду. У меня было теплое пальто с башлыком, но не было теплой обуви. Сообщить домой — поздно: ближайшая передача через два дня. Но мне еще что! У меня хоть башлык и пальто, а у других, кроме летнего пальто, буквально ничего нет. Неужели и их погонят в таком виде, в декабре месяце, в Архангельскую губернию?

Погнали... Почти все население тюрьмы, от 16-летнего "красноармейца" П., отпустившего из-под ареста какого-

то заключенного, до семидесятилетнего беззубого старика из новолодожских крестьян, людей явно больных, туберкулезных, в том числе и анархиста Блейхмана, отправляли как "буржуев" на окопные работы по Архангельско-Вологодской жел. дороге. Освободили только одного "пролетария"... миллионера-хлеботорговца. Его вызвали, прочли ему жестокий приговор, что он собственно подлежит расстрелу, но впредь до выяснения освобождается на поруки для исполнения обязательных работ, которые будут указаны советской властью. Конечно, это стоило недешево.

Вечером меня вызвали в контору тюрьмы. Лицо, собиравшее мои бумаги и записывавшее мои ответы, вдруг ровным голосом сказала: направо в будке телефон. Я не заставил себя просить, осторожно зашел в будку, быстро вызвал жену, к счастью, оказавшуюся дома, и успел сказать: сегодня к ночи с Николаевского вокзала в Вологду...

## II

### *В ССЫЛКЕ НА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ДОРОГЕ*

От тюрьмы на Нижегородской, через весь город, в мороз, с вещами на спине, пешком по снегу и ухабам, в темноте неосвещавшихся улиц гнали нас на Николаевский вокзал часа два. А в это время моя жена и еще человек пять, случайно узнавших об отправке близких им людей в Вологду, металась по огромному вокзалу и по путям в поисках вагонов, в которых нас повезут. Уже позднее, когда я вернулся, жена рассказала мне, как с валенками и хлебом в руках она бегала по рельсам, перелезала через заборы, спотыкалась, падала, оцарапала лицо и руки, упрашивала солдат, получая от них ругательства и толчки, пока, на-



конец, какой-то железнодорожник не сжалился над нею. Прежде всего он провел ее в будку, где она несколько успокоилась и обогрелась, а затем указал на место, где собирался состав вологодского поезда. Оставалось только следить за его передвижениями, т.е. бегать за ним по рельсам. Бог, видно, миловал, не попала под вагоны и даже имела возможность видеть, как провели меня для посадки. Проститься, конечно, не позволили, но валенки и хлеб для передачи мне взяли, а затем всех провожавших прогнали прикладами...

В товарном вагоне были настланы в два ряда доски. Считая с полом, получалось три этажа, на которых и разместилось человек 45. В вагоне, куда попал я с учителем А., помещались еще новолодожские крестьяне, группа рабочих анархистов и просто хулиганов, группа офицеров с Клейгельсом, сыном бывшего градоначальника. Спровождать нас назначен был особый комиссар из полуинтеллигентов-канцеляристов, человек с недурно привешенным языком. Вагон чрезвычайно быстро "организовался": выбран был староста и его помощники. Староста был указан новолодожцами, но не из крестьян, а какой-то очень толковый и чрезвычайно практичный, бывалый господин, наминавший скрывающего свое звание прапорщика запаса из мелких техников. В помощь ему выбрали двух раздатчиков. На вагон полагалось по два конвойных. Один должен был всегда сидеть в вагоне, другой провожал арестованных, когда им надо было отлучиться по нужде или за покупками. Старосты пяти вагонов составили совет при комиссаре и пошли добывать провизию на дорогу. Если память мне не изменяет, вагонные старосты избрали из своей среды главного, вручив эту должность инженеру Л., племяннику одного из последних президентов Вольно-Экономического Общества.

Выгоды "организованности" сказались очень быстро. Прежде всего принесли в вагон хлеб, воблу и сахар, полагавшиеся нам от казны по расчету из двух дней пути. Затем наш вагонный староста где-то промыслил топор.

После мы слышали, как возле поезда бегала голосившая сторожиха и Христом-Богом молила возвратить топор. Как ни жалко нам было плакавшей бабы, но своя рубашка ближе к телу. Все предчувствовали, что без топора мы погибнем с холоду, и потому и знавшие тайну топора упорно ее хранили, не поддаваясь ни чувствительности, ни голосу совести.

Наш вагон когда-то представлял собой теплушку. От этого времени осталась труба, идущая через вагон, но печка исчезла. Созрел план вернуть ее таким же путем, как она пропала. По соглашению с конвойным на ближайшей станции была отряжена небольшая экспедиция из молодежи, скоро вернувшаяся с добычей. Силами вагонных техников украденная печь была прилажена к оставшейся трубе. На станциях мы помогали раскрадывать казенные железнодорожные дрова и до Вологды ехали прекрасно: топили и варили, сколько надо было, и целый день пили чай...

Комиссар по очереди навещал вагоны. Был весел и словоохотлив (много времени спустя я узнал, что он был предан суду за хищение продуктов у одной из порученных ему партий!). Нам он говорил то же самое, что и другим:

— Вас отправляют по "мобилизации буржуев, враждебных советской власти". Едете в Вологду. Вас или там оставят, или отправят поблизости. Арестантами вы считаетесь только до Вологды. Там будете на положении рабочих. Станете получать паек: полтора фунта хлеба, сахару, муки, масла, крупы, чаю, соли, казенный обед кроме того. Рабочий день 8 часов, в Сов. России нигде больше не работают. Жить можно будет и на вольных квартирах. Одежду, обувь, все, что кому надо, все казна даст. Месяц работы считается за год. Отработаете положенный вам срок — кому три, кому пять лет, т.е. месяцев и станете уже не буржуи, а полноправные граждане Советской Республики. Все права. Хоть на место Ленина вас выбирай, и на это у вас полное право...

Арестанты слушали, развесив уши. Удивительно до-

верчивы русские люди. В вагоне было немало образованных людей, казалось бы, недурно знающих, как живется и что делается в Совдепии. И тем не менее, даже они склонны были верить рассказам комиссара. "Ну, конечно, он преувеличивает, но если и половина — правда, то и тогда не так страшен черт, как его малюют. Можно будет жить и на "работах". Особенно привлекала возможность жить на вольных квартирах.

На третьи сутки поезд прибыл в Вологду. Там нас постигли первые разочарования. Вместо горячего обеда и теплой квартиры, которые нас, по словам комиссара, должны были там ждать по его телеграмме, нам пришлось не менее трех часов с вещами слоняться взад и вперед по городу. Одно учреждение отсылало нас к другому. Никто не хотел нас принимать. Все чаще слышались слова: "веди их в тюрьму". Наконец, после того, как мы четыре раза взад и вперед колесили по одним и тем же улицам, комиссар привел нас к большому белому каменному зданию, где и сдал по переключке на улице очень свирепому конвою. Немедленно после этого комиссар исчез — только мы его и видели.

Конвой с матерной бранью и прикладами погнал нас в здание реального училища, хотя мы и не думали, конечно, отказываться туда идти. Огромные высокие светлые классы были, как полками в магазине, перегорожены трехъярусными нарами. Но, Боже мой, во что было превращено прекрасное здание реального училища, служившее этапом для арестантских и воинских команд! Клопы и тараканы ходили стадами днем. На нарах, на полу, на окнах валялись остатки пищи, не убравшиеся, видимо, месяцами. Выбиты не только стекла, но и многие рамы. В стенах выколупаны от масляной краски огромные плешки. Где только можно, похабные надписи и рисунки. Водопровод нигде не действует. Краны сломаны. Когда по настилу из досок мы прошли в место, называвшееся внутренней уборной, пришлось с позором ретироваться. Застойное озеро на полу заливало уже доски, а кое-где в этом озере торчали соп-

ки вышиною в аршин. Пришлось упрашивать конвой выпускать на улицу. С бранью конвойные собирали отряд и с ожесточением "гнали": "Еще растеряешь вас, сволочей, а после отвечай за вас..."

Кроме голых стен и нар на этапе нам ничего не предложили. На вопрос об обеде конвойные отвечали: "Сейчас в первом ресторане вам закажем обед из трех блюд, а вы пока своим закусите". Но среди наших "буржуев" недаром было много и "рабоче-крестьянского" элемента. Он умел говорить с конвоем на понятном для него языке. Скоро послышалось:

— Ироды вы, душегубы, хоть кипятку-то дайте, с.с., либо позвольте самим на свои деньги за чаем сходить!

После долгого переругивания первая брешь была пробита, и человек десять заключенных с конвойными получили возможность пойти в близлежащую чайную за кипятком.

Дальше пошло дело все легче и легче. Сначала осторожно, а затем все смелее заглядывали к нам фигуры в серых солдатских шинелях, предлагавшие "на промен". Меняли все: хлеб, сахар, папахи, валенки, рукавицы, шинели. Самыми ходкими "деньгами" были папиросы и табак; охотно брали портмоне, из рук рвали, если кто продавал, часы либо штатский костюм. Не отказывались и от денег, но брали их неохотно. Арестантский этап превратился в толкучку.

Около четырех часов, когда уже вечерело, сменился караул и стало совсем хорошо. Конвойные уже сами предлагали проводить в город, в лавочку, конечно — за некоторую мзду. Мне попался удивительно душевный парень из какой-то особой, носившей чуть ли не название "коммунистической", роты. Он не только свел меня на почту и дал возможность отправить домой открытку и телеграмму, но и затащил меня к себе в гости в казарму, угостил кашей, сладким чаем и хлебом. Я впервые увидел тут, как живут привилегированные красноармейцы. Эти помещались хорошо. У каждого была своя кровать со сто-

ликом, в который складывались продукты. На пищу красноармеец не жаловался. Когда я сидел у него в гостях, на кровати, казарма стала заполняться женщинами. Оказалось, что сегодня устраивается бал, что балы, вообще, бывают нередко, а женщины в казармах постоянные гости.

Доволен ли был красноармеец такими "свободами"? Нет. Ему казалось, что все это ненастоящее, несерьезное, а потому и непрочное. "Свобода-то оно свобода, да кто еще знает, как оно обернется; продажных шкур много, доносят; притом, если я коммунист, разве должен я крестьянина разорять, а мы их потрошим здорово. Ну и они нас не любят. В одиночку не встречайся. Коммуниста непременно убьют".

Предчувствия не обманули моего приятеля. Обернулось не очень хорошо. Вскоре, сидя в арестантском вагоне на станции Плесецкой, я узнал, что вся вологодская "рота коммунистов" за послабления арестованным буржуям была предана суду и раскассирована.

Конвойир доставил меня к семи часам на этап. Там мы заночевали. Пробовал я было заснуть, конечно, в одежде и в пальто, но атаки клопов были столь стремительны и жестоки, что ночь пришлось бодрствовать. Утром кпяток снова пришлось покупать на собственные деньги в чайной. Но в 11 часов нам дали хлеба и горохового супа. Не успели мы, однако, приняться за еду, как по камерам забегали конвойные: "Живо! Со-би-райсь! Через пять минут выступать!".

Бросили еду. Опорожнили котелки. Стали спешно собирать и укладывать вещи. Второпях, конечно, кое-что и растеряли. А конвойные все подгоняли, скверно ругаясь и угрожая прикладами. Высыпали на улицу и построились в ожидании проверки. Ждем четверть часа, никого нет. Расстраиваем ряды. С бранью велят вновь построиться. Опять ждем... Через полчаса является начальство. Перекличка. Счет. Краткое внушительное слово: если кто из этой буржуйской сволочи вздумает бежать или не повиноваться, немедленно стрелять; за побег кроме того от-

вечает вся партия, потому смотрите друг за другом сами, если хотите (так вас и так!) остаться живы. Мы уже обстреляны и потому коммунистическая словесность на нас не производит особого впечатления.

Ведут на вокзал. Но поезда еще нет. Проходит длинных четыре часа, пока подадут состав и начинается посадка. Это время мы слоняемся по вокзалу. Конвой уже давно размяк. Мы устали и замерзли. Танцуем с ноги на ногу. К чему надо было "гнать" нас с такой спешкой, не дав и поест! Система. Вскоре я убедился, что это излюбленный прием: надо бить арестованного по голове, не давая ему опомниться, чтобы он все делал быстро, по-военному, а затем тянуть из него жилы. Для чего? Так. Говорят, система эта заимствована у старого порядка и имеет под собой солидные психологические основания как средство управления массами.

Повезли на север. Везли долго. Почти полных двое суток ехали мы до станции Плесецкой, где были штабы VII армии. Там мы видели кое-кого из старых ссыльных, уже выбившихся в люди и занявших те или иные посты при армейских учреждениях. Они несколько ознакомили нас с тем, что нам предстоит. Посылают по двум направлениям: или в Емцы, или на деревню Кочмас (может быть, немного переврал название). И там, и тут фронт, на котором уже начинаются бои, а до весны ожидается серьезное наступление англо-американо-архангельско-белогвардейских войск. В Емцах очень скверные условия жизни, зато туда доставят прямо по железной дороге. В Кочмасах немного лучше, но надо идти пешком с вещами 29 верст; подвод не дают, половина людей, пока дойдет, замерзнет.

Сидели мы в вагонах под караулом и ждали, кого куда пошлют. Вызывали нас во врачебную комиссию на освидетельствование. Была тяжелая и оскорбительная комедия. Врачи из ссыльных трепетали как осиновый лист перед ассистентами из коммунистов. Помню осмотр одного дьякона:

— Ну, раздевайся, жеребьячья порода! Показывай твои болезни. Чем девок портил, сифилисом или триппером?

Врач молчал, пока, видимо, важный член комиссии изощрял свое остроумие. Другой член взглянул на нас, распознал сквозь нашу хулиганскую внешность интеллигентское обличье, толкнул товарища и сказал:

— Перестань, не валяй дурака.

Дьякона признали "годным". Но были и такие, которых и эта комиссия вынуждена была забраковать. Семидесятилетний старик из крестьян, несколько чахоточных, в том числе и Блейхман, несколько человек с температурой выше 39 градусов были изъяты из партии и отосланы в околодок. Разве не ясно было, что это следовало сделать уже в Петрограде и в Вологде, где к нам тоже заходил врач, опрашивавший, кто на что жалуется. Ему указали на лихорадящих, у которых, по-видимому, начинался тиф. Врач сказал: приму меры, но больные последовали с нами до Плесецкой. Впоследствии врачи в разговоре со мной оправдывались, что они были буквально терроризированы военно-коммунистическими властями, грозившими расстрелом за каждого оставленного "буржуя", который окажется "неопасно больным".

Меня комиссия спросила:

— Что у вас?

Я отвечал:

— Мне пятидесятый год. Всю жизнь я занимался только умственным трудом и к окопным работам не способен. Я почти слеп и, если лишусь очков, то в двух шагах ничего не увижу, да и в очках вижу плохо.

— Параграф о зрении отменить. Грыжей не страдаете?

— Нет.

Написали: годен. А в то же время во всех канцеляриях от Вологды до Плесецкой и Емцов, как и в доброе старое время, укрывались сотни здоровеннейших верзил, не умеющих грамотно написать ни строки. Происходила социальная революция: литераторы, учителя и чиновники рыли окопы, дворники, рабочие и бойкие купеческие сынки

писали и учили.

По дороге от Петрограда до Вологды и в самой Вологде можно было еще купить хлеба и кое-что из продуктов. От Вологды стало совсем худо. Фронт все объел. За деньги достать хлеба совсем нельзя было. Меняли только на табак, да и то боясь, как бы не увидали солдаты или чекисты и не отняли бы хлеб даром. Мы еще не "работали", а потому нам давали только по фунту хлеба на день без горячего приварка. Начинался голод. Многие из нас ходили под вагонами и собирали выброшенные поварами гнилые, промерзшие картофелины и другие объедки. Мне — я помню — какой-то красный командир подал кусок хлеба. Это была первая милостыня, которую я взял Христа ради. На старости лет научили меня коммунисты нищенствовать...

Из этой мерзлой картошки арестованные, как им советовали, сделали "пюре". Говорили, что есть "пюре" безопаснее, чем нетертую картошку. Предосторожность не помогла. Той же ночь все полакомившиеся этим "пюре" были жестоко наказаны. Дизентерия, впрочем, пришла позднее, в Емцах...

\* \* \*

На Плесецкой мы пробыли дня три. Часть партии отделили куда-то, кажется, действительно в Кочмас, а остальных повезли на 426-ю версту, за полустанком Емцы. Приехали мы вечером. Было уже темно, и я совершенно не видел местности, где мы остановились. Выгрузивши и пересчитавши, нас повели куда-то по узкой дороге. Из присланной партии четыре-пять человек взяли меня под свое покровительство и сделались моими няньками, иногда буквально водившими меня под руки. К сожалению, проклятые условия современности таковы, что я даже теперь,



спустя 4 года, не могу вполне откровенно говорить о тех людях, которым я обязан спасением в эти тяжкие минуты моей жизни. Но их образы я сохранил в своей душе, и, если они находятся вне пределов досягаемости советской власти и мои строки дойдут до них, пусть примут их как горячую дань моей благодарности. Без их содействия меня давно бы уже не было в живых. Это были: учитель А., высланный со мной из Петрограда по делу гласных, эстонец Э., два молодых морских офицера Щ. и Д. и инженер Л.

Эстонец Э. был натурой интересной. Человек большого роста, огромной физической силы, сильных страстей и в то же время чрезвычайной выдержки. Сын богатого крестьянина, он получил небольшое образование, занимался в Петрограде до революции торговлей и жил, видимо, хорошо. Вместе с ним попал в ссылку его соотечественник, бывший его приятель, представлявший, как это бывает нередко, разительную противоположность. Скорее низкого роста, слабосильный, приятель Э., фамилию которого я забыл, производил впечатление человека очень умного и хитрого, гораздо более образованного и интеллигентного. Он умел и любил поговорить на политические темы, тогда как Э. изъяснялся по-русски не без труда и говорил мало. Оба приятеля служили в Чека следователями по делам спекулятивным. Оба обратили эту службу в доходный промысел. Вместе попались и, пережив на Гороховой непередаваемые сцены "примерного расстрела", очутились в тюрьме на Нижегородской. Но тут начали обнаруживаться и некоторые различия. Жена Э. после его ареста оказалась почти без средств и, кажется, не особенно интересовалась своим супругом. А жена приятеля Э. имела в руках очень большие деньги и энергично хлопотала за своего мужа. В неповоротливом мозгу Э. стал тяжело шевелиться вопрос: почему это так случилось? В душу, очевидно, запали тяжкие подозрения. Дальше — больше. В тюрьму они попали вместе и в ссылку пошли вместе, но уже в Плесецкой приятель Э-а от него оторвался и судьба

его явно пошла по другим рельсам. Э. сознавал, что его приятель использовал его как грубую физическую силу, обманул, а теперь и предал и выкарабкивается сам, предоставляя ему тонуть. "Убить его надо", — сказал он мне однажды, и это не были пустые слова.

Окружающее его русское простонародье Э. не любил за грязь, скверную ругань (он с большой любовью и почтительностью говорил о своих родителях), за "необразованность". Большевики произвели на него чрезвычайно сильное впечатление и подавили его психику. "Русскому народу, — нередко говаривал он мне, — только такое правительство и нужно. Другое с ним не справится. Вы думаете, народ вас уважает. Нет, он над вами смеется, а большевика уважает. Большевик его каждую минуту застрелить может. Я помню, как он меня застрелить хотел. Они иногда правильно хотят — и мы им должны подчиняться", — неожиданно заканчивал Э. свою мысль.

Этот человек почувствовал ко мне какую-то симпатию, совершенно бескорыстную. Он помогал мне, как только мог. Когда надо было взбираться в вагон, подымавшийся на полтора аршина над насыпью, и я никак не мог подтянуться на своих слабых локтях, он подталкивал меня и всаживал в вагон своими могучими руками. Когда один арестант из хулиганов украл у меня казенную мотыгу и мне грозили неприятности, Э. заставил его угрозой переломать ребра вернуть украденное.

Как-то я прямо спросил его:

— Вы человек сильный, любите и уважаете только силу, почему же вы помогаете и заботитесь обо мне, воплощенной и ненужной слабости?

Он ответил:

— Силы-то у меня самого много. Мне тоже иногда хочется ум и правду видеть. Вы думаете, что человек может жить только как грязная свинья или голодная собака? Если бы не было образованных, хоть слабых, но честных, совсем скучно было бы. А власти вам давать нельзя. Вы ничего не умеете...

Э., человек очень аккуратный и обстоятельный, вывез с собой немного продуктов, тем более, что аппетит у него, сообразно комплекции, был большой. Но припасов хватило только до Плесецкой. В лагерном бараке на 426-й версте Э. уже сильно голодал и таял на моих глазах. Вообще, условия жизни были таковы, что обрекали всех нас на медленную, но верную смерть.

Вытянутое, узкое, низкое, темное днем и ночью, деревянное здание, без окон, с дверью на одном конце и печкой — на другом. По обе стороны, у мокрых стен — нары, посредине — узкий стол. Население так густо, что при распределении мест буквально отмеривали каждому его 8 вершков. Из-за каждого лишне захваченного полувершка шли уже споры и даже драки. Спать надо было не раздеваясь. Все вещи вообще приходилось на ночь прятать под себя, так как крали немилосердно. Днем, когда вся партия отправлялась на работы, вещи в запертом или завязанном виде оставлялись на ответственности старосты и очередного дневального. Их надзор от краж не спасал. Кражи вообще служили источником постоянных ссор. Для освещения служила лучина. Ее должен был нащепать дневальный в таком количестве, чтобы хватило на утро, когда завтракали перед отъездом на работы, и на вечер, когда обедали после возвращения с работ. Так как приготовить такое огромное количество лучины один дневальный, обремененный и другими работами, никогда не мог, то его всегда ругательски ругали. Дневальный после отъезда партии должен был вымести камеру, наколоть и принести дрова, поддерживать огонь в печи, нащепать лучину и помочь старосте доставить продукты.

Продукты (хлеб, сахар, иногда чай, рыба и мыло) выдавались старосте каждого барака по списку и делились выбранными раздатчиками из арестантов по возвращении их с работ. И старосту, и раздатчиков обвиняли почти всегда в кражах и мошенничестве, хотя заранее заготовленные порции раздавались по жребию. Староста должен был следить за порядком и всех подымать в 6 часов утра. Все,

исключая старосту и одного дневального, должны были ежедневно, не исключая ни воскресенья, ни Рождества, ни Нового года, отправляться на работы. Чувствовавший себя больным отправлялся старостой по записке в околодок в 6.15 утра. Если фельдшер признавал его больным, он мог остаться в лагере, но получал третью часть хлебного пайка и должен был все время лежать в бараке, не выходя во двор. Беда, ежели кто из начальства заметит такого "лодыря" во дворе. Если же фельдшер не признавал его больным, он сломя голову должен был бежать к полотну, где в семь часов перед поездом уже выстраивались арестанты по баракам, или, как говорили, "по ротам". Такой неудачный больной лишался завтрака — большею частью супа из селедки даже без крупы, — который раздавался в 6.30 ч. утра. Без десяти минут семь мы должны были уже выходить к полотну, имея на завтрак не более 15 минут. Завтрак раздавался, смотря по представляемой посуде: на одного, на двух, на трех.

Хлеба давали по полтора фунта на человека с малым недовесом. Сахару около 4 золотников. Рыбы, сухой воблы или селедки в среднем по полуфунту в день. По приезде с работ, между 7 и 8 часами вечера, давался "обед", т.е. то же самое варево, что и утром, за исключением праздников, когда вместо супа давалась жидкая пшенная каша. Рацион в общем был значительно меньше красноармейского: почти совершенно отсутствовали жиры. Его не хватало бы для поддержания сил и при сидячем образе жизни в теплой тюрьме. Мы же проводили все время, с 7 часов утра до 7—8 часов вечера, на морозе, за работой или в холодных вагонах, и, конечно, выдаваемая нам пища не составляла и половины того, чего требовал организм. Даже я испытывал чувство голода. Что же переживали более молодые и здоровые, например Э., который на воле ежедневно потреблял одного хлеба не менее 3 фунтов? Огромное большинство арестантов постоянно испытывало острое чувство голода, и все мысли их были поглощены заботой, как бы чего найти съестного. Поселений поблизости

не было никаких. Оставалось красть либо в казенных складах и кухнях, либо у более счастливых товарищей, получивших какие-нибудь посылки. Посылки, особенно со съестным, редко доходили в целом виде. Сначала содержание их в порядке надзора просматривалось на почте, затем в штабных учреждениях VII армии, потом лагерным начальством и, наконец, сожителями по бараку в порядке простой кражи.

Э. таял на моих глазах. В течение недели, которую я провел с ним в бараке, он потерял не менее 15 фунтов весу. Охватившее его сначала возбуждение начинало уже сменяться апатией...

Состав арестованных был очень смешанный, с большой дозой уголовного элемента, не только воров, но и разбойников и убийц. Нравы были дикие. Одно из самых сильных впечатлений произвела на меня сценка, которую я наблюдал в первую же ночь. Через трех человек от меня возилась пара педерастов за своим делом. Соседи объяснили мне, что хулиганы пригрозили им ножом, если они вздумают протестовать. Сказали старосте: он разъединил парочку. Это не помогло.

Помню другую ночь, дня через три после того, как я поел выданной вяленой рыбы. Ночью я почувствовал, что у меня во рту что-то шевелится — и вытащил червя с полвершка величиной.

Другое сильное впечатление было вечером, в первый же день после возвращения с работ. Мои неподбитые валенки не выдержали первой же прогулки по лесному бурелому. Я пробил их о какой-то сук, и они порядком намокли от набравшегося снега. Вернувшись к вечеру в барак, я разулся и, заметив, что у печки есть свободное место, присел, как и другой арестант, на корточки и стал сушить перед огнем валенок. Вдруг ко мне подошел один здоровенный верзила, толкнул меня так, что я покатился на пол, и занял мое место перед камином. За меня, было, заступились двое, но верзила им ответил:

— Подите вы с вашим барином к...

Должен прибавить, что это был первый и последний раз, когда меня обидел в камере свой брат арестант. Обыкновенно относились ко мне хорошо, по-человечески. Но ругань в бараке не прекращалась и драки были ежедневно.

В чем же состояли наши работы?

Нас привезли на 426-ю версту вечером, когда было темно и я не мог даже рассмотреть местности, в которой расположен наш "лагерь принудительных работ". Когда на следующий день в 6.15 утра мы пошли за завтраком, я тоже ничего не видел кругом и слепо шел за товарищами гуськом на огонек у вагона-кухни. Возвращаясь обратно, я споткнулся в темноте и пролил часть драгоценной жидкости. В 7 часов, когда нас посадили в вагон, было также темно. Вагон был с нарами, но холодный, без печки. Во всем поезде на пять крытых товарных вагонов было только две теплушки с печами. Раза три эстонец или какой-либо другой приятель вталкивали меня туда, но большею частью теплушки брались с бою более сильными и более близко к ним выстроенными "ротами", а остальным приходилось кататься в холодных товарных вагонах.

Да, это было "катанье", которое мы, не попавшие в теплушку, проклинали от всей души. Пятнадцать верст в декабрьскую стужу нас везли не менее трех часов. Считалось, что наш рабочий день длится 8 часов, с 8 часов утра до 4 вечера, когда уже спускались сумерки. Но на самом деле на подвоз нас к месту работ на 441-й версте уходил не час, а три часа. Шабашили мы ровно в 4 часа, но везли нас обратно ни разу не меньше трех часов. Так что хотя мы "работали" всего 6 часов, но вместе с дорогой времени у нас уходило 12 и 13 часов. Провезут нас три версты, остановят поезд, еще — две, затем обратно подадут, опять стоят, а мы мерзнем и ругаемся. Дров возле дороги было достаточно. Когда становилось невмоготу, набирали поленьев, что потоньше, кололи их казенными кирками и саперными лопатами и жгли прямо на полу вагона. Окутывало таким злым, едучим дымом, что глаза не высы-

хали от слез. Приходилось широко раздвигать двери вагонов, чтобы не задохнуться от дыму. Все же теплее, чем только переминаясь с ноги на ногу.

Приехали, наконец. Нас выгружают и разбивают на шестерки. Большею частью с места выгрузки мы должны были по лесным "тропкам" пройти на позиции полторы-две версты и снести то, что полагалось. Носили мы, главным образом, мотки колючей проволоки, иногда доски для колодцев и блокаузов. На шестерку выдавался моток проволоки пуда в три и длинная жердь. Жердь продевалась сквозь моток, и два человека, положив концы на плечи, несли ее по узенькой тропке, идя гуськом за проводником, без которого в этой чаще нет возможности найти надлежащие "тропки". Двое человек несут, четверо их поочередно сменяют.

Шестерки сбивались наскоро, безо всякой системы. В одну набирались все сильные, как на подбор, в другую — самые слабые. Горько мне было и совестно перед арестантами, в шестерку которых я попал... Храбро положил я конец жерди на плечо и пошел. Пронес моток саженей десять — и упал. На ровном месте ноги скользили, в снегу увязали, о корни и суки постоянно спотыкались. Приходилось снова поднимать моток с земли — лишний и большой труд, не говоря уже о том, что, падая, тянешь за собой товарища и подвергаешь его опасности жестоко разбиться. Меня сменили. Спасибо, даже не ругались. Попробовал я после еще раз понести жердь. Прошел немного дальше, но результат тот же.

— Нет, отец (так называли меня арестанты и красноармейцы из народа), не для тебя это дело. Скажем уже десятнику, даст тебе, что полегче.

Десятник внимательным взглядом посмотрел на меня: не притворяюсь ли?

— Ну хорошо, ставить его на жерди, скобы и гвозди.

Это было легче. Набирал я в дырявый мешок скоб и гвоздей, рассовывал по карманам, которые, конечно, немилосердно от этого рвались, но все же было легче, а глав-

ное, по силам. Носил и доски. С этим справлялся.

С приходом на позициидесятники распределяли нас на разные работы. Одни копали землю для окопов, блиндажей или колодцев, другие — рубили деревья и обтесывали колья, третьи — забивали эти колья в землю, четвертые — разматывали колючую проволоку и переплетали ею построенные загородки и частоколы. Мне приходилось делать все, кроме закладки и обшивки колодцев.

Грешно жаловаться на обременение работой. Десятники из молодых саперов — славные, хорошие юноши — относились ко мне более чем терпимо. "Ну, какой ты, отец, нам работник, — сказал один, видя, с каким трудом подымаю я выше головы тяжелый деревянный молот, чтобы вбивать им в землю непослушный кол, входивший у меня только в снег, — пойди лучше в лес, посиди".

Я пошел. Сел на пень, оглянулся, и душа моя радостно застыла от этой торжественной красоты и спокойствия вековых архангельских лесов. Я сразу узнал местность, где нахожусь. Да, это те самые леса, которые воспел А. Чапыгин в своей замечательной повести "Белый скит", до сих пор не оцененной в нашей литературе. Вот передо мной эти гиганты, живые, осыпанные снегом, тянущиеся верхушками в небо, и мертвые, на двадцать саженей перегоревшие все дороги. Ходить по этим лесам можно только по тропкам, зная притом, куда какая тропка приведет. Собьешься, заблудишься, не выберешься вовек и попадешь либо медведю, либо белому сну в лапы. Оступишься в снег, сбоку дороги — хватайся сейчас за дерево: снег глубокий, провалишься — не выбраться. На деревьях белки прыгают, снегом тебя порoshат, птицы различными голосами перекликаются. Издали доносятся удары топоров и молотов: наши работают.

Вдруг раздался выстрел, орудийный, через минуты три за ним — другой, еще и еще. Послышалась и ружейная стрельба, тоже не очень частая. В первый день я не мог ясно разобраться, с какой стороны выстрелы. Перестрелка длилась около часа. Раненых я ни разу не видел, хотя од-



нажды очень близко от нас зарылся в снег под деревом на пригорке трехдоймовый снаряд. Ходили его смотреть. Неприятно было, когда однажды нас обстреляли ружейным огнем на работе у блиндажа вблизи насыпи. Велели залечь. Затем прошли в блокгауз, отсиживались там вместе с взводом красноармейцев, которые ругали и коммунистов, и белых, и пели циничные и кощунственные песни.

Я, конечно, был не работник. Но и другие, должен правду сказать, работали не очень много и не очень усердно. И подневольные рабочие, и командируемые на работы и для надзора красноармейцы, и вольные начальники, все относились к работе как-то скептически и равнодушно. Строили колодец и смеялись: "А воды-то ведь тут нет, давно пора в другом месте рыть, да вот товарищ Сергей упрямится". Рыли яму для блиндажа и говорили: "К концу кампании будет готово". Про наши проволочные заграждения все в один голос утверждали: "Весной первым же потоком все снесет".

Очень часто различные группы рабочих и солдат подходили к костру погреться, вскипятить чайку. Завязывались разговоры. Меня особенно интересовало отношение красноармейцев к белым, как преломляется в их сознании междоусобная война. Общее впечатление было такое. Те, что попроще, взятые от сохи или мало тронутые пропагандой, не верили в победу красных.

— Где уж нам! Как перейдут в наступление, всю эту работу вашу снесут и нас вместе с нею. Разве у нас что настоящее? Государство, офицеры — все второй сорт. Видел я американца: пальто меховое, теплое, короткое, ноги свободны, рукам легко, ружьецо у него игрушка, не как у нас, на веревке, бинокль, карта. Все у него есть, знает, где находится, против кого воюет. Действуют они обходами. Мы вот тут работаем, а "он", может быть, уже за тридцать верст нас обошел, а завтра окружит и готово: сдавайся.

Полуинтеллигентные и распропагандированная молодежь из города и деревни на это горячо возражали:

— Не так уж это страшно. Конечно, если бы воевали с

нами англичане и американцы, нам, слов нет, против них не устоять. Но их мало, они только приданы белым для твердости. А с белыми мы справимся. Офицеры их лучше наших, без спору, только они — господа, живут от своих солдат особо, едят и пьют по-особому. Пока белый у офицера на глазах, он еще годен, а как один остался, наш его голыми руками берет. "Ты, — говорит, — с чего это вздумал золотые погоны защищать? Думаешь, тебе нашьют, князей и графов мало осталось?" Какая у белых сила, если один наш агитатор может у них целый батальон испортить. Возьмут, свяжут офицеров и нам же их и выволокут...

Наконец, один из полукомандного состава сказал мне как-то слова, в первой части оказавшиеся пророческими:

— А я вам скажу, кончится так: мы — возьмем Архангельск, а "они" — Плесецкую. Неразбериха. Гражданская война.

Насколько я тогда понял, он своими словами хотел оттенить господствовавший в то время способ ведения войны глубокими обходами.

Довольно часто в разговорах слышались звуки ненависти и мести за родных, за жестокости над товарищами. Тут было много сумбуру, но много и просто темного. Среди красных было немало и перекрашенных, которые, вероятно, энергией брани старались застраховать себя от подозрений. Так, во время одной из "работ" я около часу слушал у костра горячие речи некоего Б., в прошлом несомненно офицера, разжалованного, как он говорил, в рядовые во время войны. Он все собирался взять Архангельск и изощрялся в придумывании казней, которым подвергнет население, вырезавшее какой-то отряд революционеров, и одного офицера, еще в царское время предавшего его брата, будто бы устроившего заговор в Академии Ген. Штаба. Последнее мне показалось явным вымыслом, рассчитанным на невежество слушателей. Заломив на затылок высокую черную смушковую папаху, распахнув полы шинели, Б. ораторствовал: "Войду в город, соберу

буржуев, самых жирных, самых чистых, самых, голубчики мои, образованных. Построю их в ряд. За то, скажу я им, господа мои хорошие, что вы восстали против народа и предательски вырезали моих товарищей, назначаю я вам наказание. Пятый из вас будет расстрелян. Четвертый из оставшихся — повешен. Третьего из остающихся пристрелю я сам. Последних, так и быть, помилую, возьму с них выкуп по миллиону рублей кругом за всех, и за казенных тоже, а затем пошлю на работы. Ну, а с офицером-предателем у меня другой разговор будет...".

Слушал я Б. и не мог понять, кто он, собственно, красный или только прикидывающийся им черный. Но и в том, и в другом случае речи его, совершенно невыносимые для интеллигентного сознания, вызывали в рядовых красноармейцах скверные и злые, кровожадные чувства.

Все признавали, что в России плохо и так продолжаться не может. Некоторые предлагали "не шебаршить", а прямо пойти к иностранцам в науку: все одно этого не избыть ни красным, ни белым, а за науку, конечно, платят. Раздавались и другие голоса. Так, впервые здесь, у костра, на 441-й версте услышал я из уст одного красноармейца: "Дайте нам только с белыми справиться, а там объявим и всеобщую, прямую, равную борьбу против воши". Впоследствии схожие фразы я читал в советских газетах и вычитал ли ее красноармеец оттуда или своим умом дошел — не знаю.

\* \* \*

Я не очень-то много вбил кольев в землю и еще меньше намотал проволоки. Десятники и присматривавшие за нами красноармейцы на меня не очень наседали и не особенно гнали на работу. Они видели, что я не уклоняюсь и не лодырничаяю, а действительно не могу и не умею. Но все-таки рассчитывать на постоянное снисхождение стражи было рискованно. Надо было добиться какой-либо другой работы, для меня посильной. В это время нас уже

опрашивали о специальности. Мастеровых, слесаря и сапожника уже взяли куда-то от нас на постоянные работы. Большое впечатление произвело известие, что двух бывших офицеров-кавалеристов взяли на станцию Плесецкую на конюшни для ухода за лошадьми. О положении "конюхов" отзывались хорошо, и все в нашем лагере, причастные к кавалерии или к конной артиллерии, мечтали пристроиться на конюшне. Решил и я искать себе подходящей специальности: если первые, самые тяжелые, дни выжил, значит, надо жить и дальше.

Я посоветовался со старостой. Он говорил, что сделать что-либо трудно. На канцелярские работы есть приказ неблагонадежных интеллигентов не назначать. Есть работы внутри лагеря по уборке, по заведыванию кубом, баней, на кухне. Назначение туда зависит от начальника. Староста посоветовал сходить завтра утром в околодок, сказаться больным, тогда оставят в лагере на день и можно будет присмотреть какую-либо работу. Четыре дня я уже был в лагере и до сих пор не знал, где нахожусь. Уезжал на работы, когда было темно, и приезжал обратно, когда уже ничего не мог рассмотреть. Не мог даже один за водой сходить, так как не видал, где колодец. Мои попытки ночных рекогносцировок для ознакомления с местностью кончались тем, что попадал в сугроб и спешил по своим следам выбраться обратно на дорогу. Это могло кончиться печально: стоило мне, не зная дороги, забраться куда-либо в сторону, и караульный, заподозрив беглого, стал бы стрелять... Все вместе взятое создало во мне решение непременно остаться завтра в лагере. Странное психическое состояние: когда я это решил, я почувствовал, что не могу завтра ехать на работы и, что бы то ни случилось, не поеду...

Наутро отправился вместе с другими кандидатами в больные в околодок. По очереди прошел к фельдшеру, молодому симпатичному человеку. Не обратил должного внимания, что кроме фельдшера и его помощника в комнате был еще один человек. Фельдшер ко мне: "Что бо-

лит?". Я простодушно рассказал ему все, как есть, близорук, ничего не вижу. до сих пор не знаю места, где живу, работа на позициях для меня непосильна, от работы не уклоняюсь, но прошу дать, что по силам...

— Это меня не касается, — прервал меня фельдшер. — По этим причинам я не могу освобождать от работ. Проситесь через начальника лагеря на комиссию. Сегодня у вас что болит? Голова?

— Голова у меня всегда тут болит.

Взял за руку, нашел пульс, сосчитал:

— Здоровы, ничего не могу сделать. Сегодня должны ехать на работы.

— Я ехать не могу. У меня сил нет.

— Должны.

Я почувствовал, что на меня что-то нашло. Вот ездил же четыре дня и ничего, а тут такое ощущение, что если силой потащут, и то не поеду. Вместо того, чтобы бежать к полотну железной дороги строиться, я ощупью побрел обратно, отыскивая помещение четвертой роты.

Свистнул поезд, партия отъехала. Вернулся сдававший ее староста. Ко мне: "Что вы наделали? Вас ведь нет в списке оставленных фельдшером?" Первый случай прямого неповиновения, может выйти скверная история. Я отвечал, что ехать психически не мог, будь что будет, мне все равно.

В дальнейшем рассказе я, к сожалению, должен кое-что опустить, не зная, где теперь люди, так или иначе принимавшие участие в моей судьбе. Должен сказать, что старосте и еще нескольким лицам удалось предотвратить отдачу меня под военно-полевой суд. Меня призвало к себе начальство лагеря и спросило:

— В чем, собственно, дело?

— Ехать вместе с остальными арестантами, молодыми и сильными людьми, я, старик, не могу, даже если меня и не будут принуждать работать. Не пикник же это для меня. А от посильной работы не отказываюсь.

— Хотите взять заведывание кубом?

— Попробую.

Попробовал и увидал, что поступил легкомысленно. Во дворе стояла маленькая будка с печкой и замазанным в нее пятivedерным котлом. Три раза в день надо было согреть по два куба и проследить за раздачей приходящим кипятку. Дневная раздача, когда три четверти лагеря уезжали на работу, особых трудностей не представляла, но утренняя и вечерняя были много сложнее.

Назначили мне помощника, и стал я готовить с ночи куб на утро. Принес не без труда, но благополучно, пять ведер воды, наколот дров, нащепал лучины для освещения и растопки. Закончил работу, хочу уходить, помощник, колотивший дрова, и говорит: "Так бросить куб нельзя, к утру ни дров, ни лучины не найдем, даже холодную воду из куба выщедят". Правильно. Надо запереть. Смотритель говорит, что казенного замка у него нет, как нет и спичек. Бросился по лагерю добывать и то, и другое. На что-то выменял. Заперли куб. Встал в четыре часа утра. Помощник мой еще не приходил. Стал растапливать куб. Не без труда, но удалось: горит хорошо. Только опять старая беда: потеют у меня стекла очков — ничего не вижу, а сниму их — тоже ничего не вижу. Все-таки вскипает у меня куб, а помощника нет, как нет. Идти за ним не хочется: скажет, не смог сам с делом справиться. Стали на дымок ко мне заходить отдельные, рано проснувшиеся, арестанты. Тут я сделал грубейшую ошибку. Накануне мне техники дела никто толком не объяснил. Мне бы надо запереть куб, сходив оповестить все "роты", что кипяток готов, буду скоро раздавать, а я вместо того прямо дал первым пришедшим. Те разнесли по "ротам": кипяток дают. Заключение бросились к кубу. Я — один. А раздавать воду надо осторожно, чтобы куб не опустел, не то распаяется — и тогда "крышка". Толпа набилась в кипятильник и не хотела уходить. Мне надо было обязательно его закрыть, чтобы пойти за водой. Началась перебранка. Толпе, видимо, доставляло удовольствие поиздеваться над интеллигентом:

— Наливай, глазастый черт, а то сам нацежу!

— Очки напялил, так и командуешь!

— Ежели не за свое дело взялся, так молчи!

Я уже отлично понимал, что взялся не за свое дело. Положение было критическое. В это время появился мой помощник из питерских рабочих, медливший приходом, видимо, не без психологических расчетов. Он крепко выругался, схватил одного арестанта за шиворот, выкинул из кипятильника, вытеснил остальных. Для приличия они ругались, но своему брату уступили. Мы заперли куб, наносили воды и через десять минут снова раздавали воду. Но как только рабочий поезд отошел, я явился к начальству с рапортом:

— Кипятильщиком быть не способен, прошу назначить другого.

К удивлению моему, я встретил очень хороший прием:

— Какой вы кипятильщик! Разве справиться вам с этим народом! Хорошо еще, что куб не распаяли. Ну, мы вам нашли подходящую работу. Явитесь к фельдшеру...

Смешно немного теперь обо всем этом вспоминать. Но неудача с кубом так придавила мой дух сознанием моей непригодности к этой суровой жизни, что я ничего не ждал и от беседы с фельдшером. Опять какая-нибудь тщетная попытка, новый конфуз, новое отчаяние. Вспомнились за тысячу верст оставшиеся жена и дети, которые пьют свою чашу в холодном и голодном Петрограде. Двадцать пять лет писал, учил других — а теперь с кубом и толпой арестантов справиться не можешь. Нужны ли такие люди? Имеют ли право существовать?

Заведывание кубом передано было моему товарищу. Он нашел себе помощника из своей среды, и дело у них пошло. Потихоньку они начали поторговывать кипятком для постирушек (это было строго запрещено), оказывали услуги кухонным людям и начальству — и стали сыты. Встретив меня как-то после этой истории, мой помощник полупризнался, что не без намерения оставил меня с толпой одного глаз на глаз: "Увидали вы, какие это люди,

и не захотели, правильно, с ними возиться".

Пошел к фельдшеру. Тут уже все переменялось. И теперь не могу без чувства горячей благодарности вспомнить этого хорошего русского молодого человека и двух его санитаров, тоже из ссыльных. Одного из них, г.Б-ра, я встретил недавно в Берлине, и в его красиво меблированной столовой за хорошим обедом мы вспоминали дни и ночи, проведенные в лагере на 426-й версте. Там наше знакомство началось с того, что, конфузливо протягивая мне горшок с остатками пшенной каши, он сказал: "Может быть, не побрезгуете, теперь как раз мы уже пообедали и ничего у нас больше не осталось...". Надо ли добавлять, что я не побрезговал и вычистил горшок так, что его почти и мыть не надо было.

— Вы на меня, должно быть, рассердились, что я вас тогда не оставил, — сказал мне фельдшер. — Не мог я этого сделать. Тут шпик сидел, вы не заметили. И без того всякий день доносы. Коменданта лагеря уже смещают, пока останется его помощник, хороший человек...

Узнав об условиях жизни в бараке, фельдшер предложил переселить меня к себе в комнату при околке. "Конечно, — сказал он, — клопов и у нас достаточно — с потолка падают; лучше поэтому спать на полу, а не на скамье, есть и мыши, но все-таки будет вам лучше". Понятно, с какой благодарностью я принял предложение. Часа через три я со всеми вещами перебрался уже в околодок. В первый раз в течение десяти дней я получил возможность раздеться и хоть немного почистить себя от облепивших меня насекомых. Вечером ждала меня другая величайшая радость: фельдшер пригласил меня в баню, вытопленную для красноармейцев...

Ночью, однако, на новом месте спалось плохо. Уложили меня для почета на единственной кровати в передней, служившей одновременно и кухней. По бревенчатым стенам были развешаны кастрюли и кружки. Едва я лег, раздевшись и прикрывшись пальто, как почувствовал, что по лицу кто-то ползает, а по ногам бегают. Я был атакован



клопами, падавшими с потолка, и мышами, осторожно спускавшимися по стенкам, вычищавшими кастрюльки и шуршащими там. Встал тихонько, чтобы не будить других, оделся и часть ночи провел, сидя на стуле, наблюдая по звукам тихую, осторожную ночную жизнь крыс и мышей. На следующий день, извинившись, я лег на полу и спал всю ночь как убитый. На третью ночь спал совсем нормально, все время проникнутый чувством глубокой благодарности к фельдшеру и его товарищам, избавившим меня от жизни в бараке.

Тем временем нашлась для меня и подходящая работа. В нашем лагере был лишь околодок для амбулаторного приема. Чуть только человек заболел серьезно, приходилось или отправлять его в нетопленном скотском вагоне на Плесецкую или оставлять в бараке, рискуя, что он заразит всю "роту". Решено было поэтому устроить нечто вроде приемного покоя для сомнительных, человек на 8, на 10. На окраине лагеря стоял полуразвалившийся домик с топкой. Печники в лагере были, и печь можно было поправить. В доме с месяц тому назад жили солдаты. Можно себе представить, в каком он стоял виде. Мне было поручено привести его в порядок, вымести, вымыть, оборудовать и сделаться, так сказать, смотрителем здания будущего приемного покоя. С утра до вечера возился я там. Никто меня не понукал. Не приходилось никуда спешить; делал я то, что мог и как мог, но работал по совести, очищая этот хлев от невероятной грязи. Усилия мои увенчивались успехом. Стали уже чинить печку. На санках возил я к дому огромные сосновые колоды в два обхвата из прекрасного строевого архангельского леса, истреблявшегося здесь на дрова. Мне дали колун и научили колоть эти, с виду столь страшные, но на самом деле легко колющиеся колоды: надо только уметь выбрать линию для удара. У меня уже появилось небольшое хозяйство: с полсажени дров, несколько табуретов, даже маленький ночничок из бутылки с драгоценной жидкостью — керосином. Когда печники кончили свою работу, я достал

горячей воды и вымыл хибарку. Наконец, затопили печь — и вся хижина наполнилась дымом. Пришли еще раз печники и победили: на другой день в печке весело трещали дрова, а в избе становилось так тепло, что я скинул пальто...

В этот момент моего торжества меня позвали в околодок. Фельдшера я застал в большой тревоге. Комеданта лагеря убрали, помощника фельдшера переводили куда-то и, кроме того, только что получена телефонограмма, чтобы меня и одного присяжного поверенного Р. с первым же поездом доставить на станцию Плесецкую. В чем дело? Не иначе как донос. То, что в телефонограмме ни слова не говорилось о вещах, толковалось одними оптимистически: значит, пустяки! Другие же покачивали головами: без вещей хуже... Я сначала подумал было, не на суд ли за самовольный отказ поехать на работы? Но одновременность вызова со мной и петроградского адвоката заставляла думать: не из Петрограда ли вести? Только почему тогда "без вещей"?

Снарядили меня в дорогу, дали с собой хлеба, и пошел я в контору. Оттуда дали мне с адвокатом Р. конвоира и отправили в вагон. Везли долго. Было холодно и тоскливо. Что впереди?

\* \* \*

Впереди оказался арестантский вагон. Пожалуй, это было самое лучшее помещение, которое я имел за последние две-три недели. Старый царский арестантский вагон III класса, с решетками, но освещенный, со скамьей, на которой можно было вытянуться. Заключение вначале было немного, и в моем распоряжении оказалась целая скамья. Рядом со мной помещалась крестьянка средних лет, у которой на лице все время стояли слезы.

— Что у тебя, тетушка? — спросил я ее.

— Детушки у меня малые, — певучим говором заговорила она. — Трое их, самой старшей девять лет,

младшему — два года. Одни остались, как есть, одни, без единого человека. Мужа сначала арестовали, теперь, значит, меня. Все хозяйство, лошади, коровки с малыми детьми бросила, а кругом только неприятели.

— Какие неприятели?

— Смута у нас такая пошла, — шептала она сквозь слезы. — Вражда началась. Одни говорят: мы — красные, а вы, что побогаче, — белые и следует у вас хозяйство отнять за помощь белым и англичанам. На мужа довели, что он белым подводы давал, а как он мог не дать, когда ружьем заставили. Взяли его, а через неделю приехали за мной: ты, говорят, белым сигналы показывала. А это уже соседи, красные, видя, что хозяйство при мне, на меня выдумали. Я плачу: на кого же я деток брошу? Они отвечают: на кого хочешь, нам дети твои не нужны, мы с детьми не воюем. Вот и не знаю я теперь, что с детушками моими. Обидят их соседи, сведут последнюю корову. Чует мое сердце... — и она заплакала навзрыд.

Я попробовал утешать. Но что мог я сказать на это безмерное материнское горе! Гражданская война глянула на меня своими бездонными, злыми глазами.

Через некоторое время крестьянка совсем тихим подавленным голосом зашептала:

— А как, вы не слышали, не пойдут сюда англичане большими силами? А то что делают? Придет небольшой отряд, постоит, уйдет, а затем красные и начинают доказывать: этот помогал, этот сочувствует. Сколько народу зря загубили! Когда, наконец, Господь Бог нас помилует!..

Вагон мало-помалу заполнялся. Появление одного высокого сильного человека в полушубке и папахе, по виду рабочего, вызвало большой эффект в группе сидевших крестьян-маслоделов:

— А, Степка-комиссар! Коммунист! И ты тут очутился! Пришел и твой черед! Грабил ты нас, мучил, сюда, мерзавец, засадил, а теперь с нами посидеть пришел. Посиди! Поешь нашу хлеб-соль, мы тебе покажем! Помнишь, как ты у меня бочонок масла украл. Налог, говоришь, на

армию, а почему масло у твоей стервы оказалось?..

Степан сначала был оглушен, но скоро оправился:

— Если вы, белогвардейская сволочь, ко мне приста-  
вать станете, так я начальнику охраны скажу, он вас ми-  
гом успокоит. Я арестован по недоразумению. Мне сам  
следователь сказал, что завтра выпустит.

— И мы по недоразумению, по твоему доносу. И нам  
сказал, что выпустит. Всем так говорит...

Перебранка продолжалась еще с полчаса, постепенно  
спадая с тона. А через час я, к величайшему изумлению,  
наблюдал, как комиссар и его жертвы уже довольно мир-  
но беседовали и готовились вместе пить чай...

Прошла ночь в вагоне. Арестантов приводили и уво-  
дили, а о нас точно забыли. Наутро мы вспомнили о себе.  
В ответ узнали, что выписал нас следователь со странной  
фамилией Самодед. Но Самодед уехал в деревню Кочмас  
для дознания об обстреле партии арестантов (из прибыв-  
ших одновременно с нами), потерявшей много народу  
убитыми и ранеными. Самодеда все нет и нет, а без него с  
нами ничего сделать не могут.

Еще один день в арестантском вагоне. Вечером при-  
ходит юноша, видимо, из служащих в канцелярии, и тихо,  
стоя возле меня, говорит:

— Вы писатель? Вы не бойтесь. Вас освободят. Есть  
уже телеграмма. Отправят в Петроград. Ваши вещи выпи-  
сали с Плесецкой.

Прошло, однако, более суток, пока меня с прис. пове-  
ренным Р. позвали куда-то, что-то записали, выдали нам  
вещи и, вызвав двух конвойных красноармейцев, заявили,  
что мы отправляемся при пакете в Вологду в распоряже-  
ние председателя военно-революционного трибунала. Са-  
модеда мы так и не дождались. Он застрел в Кочмасае.

Прежде всего нас поразила та почти любовная ра-  
дость, с которой нас встретили конвойные. Загадка скоро  
разъяснилась. Фронт всем до того осточертел, что люди  
только и мечтали хоть ненадолго вырваться отсюда до-  
мой на побывку. Сопровождение арестованных считалось

лучшим видом отпуска, особенно если нет опасности, что арестованные сбегут. Наши конвойные были из-под Вологды. Мы, как они сразу поняли, арестанты смиренные и благонадежные: лучших не найти. Поэтому они прониклись к нам самой теплой симпатией и делали все возможное, чтобы превратить отправку нас в Вологду почти в увеселительную поездку. Получилась какая-то шутовская гримаса на трагическом лице гражданской войны.

Еще до формирования поезда наши конвоиры ввели нас в вагон первого класса, заняли четырехместное купе и заперли его изнутри. Мы расположились внизу на неотодранном еще бархатном диване, а наши конвоиры наверху. Когда поезд подали на станцию, все вагоны очень быстро переполнились пассажирами. В наше купе то и дело ломались стоявшие в коридоре люди, но все получали энергичный ответ:

— Сюда нельзя. Везем важных политических преступников. Никого не велено пускать.

А когда пассажиры становились чересчур настойчивы, конвоиры прибавляли:

— Не ломись. Стрелять будем. Приказ имеем — никого к арестованным не пускать.

Конвоиры поили нас чаем, покупали на дороге молока, угостили даже ватрушками, которыми сами запаслись на дорогу.

Так проехали мы полторы суток. С 1916 года никогда я не путешествовал с большими удобствами. В Вологде на имевшиеся у нас деньги мы наняли извозчика и вместе с конвоирами отправились разыскивать председателя Военно-Революционного Трибунала. На наш стук в дверь с соответствующей надписью в коридор вышел человек лет 30, без пиджака, в подтяжках, с расстегнутым воротом синей мятой ночной рубахи:

— Кого надо?

— Председателя Военно-Революционного Трибунала.

— Я сам. Арестованных с Плесецкой привезли?

Сдавай.

В две минуты мы были "сданы". Конвойные, дружески с нами распрощавшись, быстро ушли, а нас председатель повел в какую-то комнату, зажег огонь, велел сесть, буркнув:

— Сейчас придет секретарь, напишет...

Минут через двадцать пришел секретарь, читал наш пакет, ходил несколько раз советоваться с председателем. Тот вышел в прежнем костюме, и вместе они сочинили и выдали нам по две записочки. В одной удостоверилось, что такой-то являлся в Трибунал и был им освобожден от принудительных работ. В другой заключался пропуск на проезд в Петроград "по распоряжению ВЧК.". Я тотчас же заметил, что ни в одной бумажке ничего не говорится об обязательности для нас по приезде куда-либо явиться и, по соглашению с Р., мы решили этого вопроса не углублять и ни о чем председателя не спрашивать. Точно не помню, но как будто он, отдавая нам бумажки, сказал: "По прибытии явитесь в ВЧК".

— Куда нам теперь?

— На вокзал. Берите билеты и поезжайте.

Итак, мы уже свободные граждане на улицах Вологды... Нам стоит только взять билеты, и мы можем послезавтра быть дома. К сожалению, у нас нет для этого денег...

\* \* \*

Я до сих пор точно не знаю, что в это время происходило в Петрограде и в результате каких влияний Самодед получил телеграмму об отправке нас в Вологду. Нужно сказать, что вообще эта петроградская выдумка, "посылка буржуев на окопные работы", вызвала большой шум. В Петрограде все дело очень быстро попало в руки теплой компании жуликов, освобождавших за деньги подлинных "буржуев" и посылавших на верную смерть бедняков из интеллигенции, учащейся молодежи, рабочих, мещан. Военные власти постоянно жаловались, что им по-

сылают людей, для работ совершенно негодных, стариков и детей, больных, одетых по-летнему. Помимо трагедии в Кочмасе, присланные на работу заболели массами и из них многие умирали. Сильное впечатление произвела, например, смерть студента Л., брата одного близкого сотрудника А.Луначарского. С этим симпатичным юношей я познакомился довольно близко. Он был одним из членов сельскохозяйственной коммуны, устроенной петроградскими студентами под Лугой для снабжения картошкой и овощами своего кооператива.

Студент с увлечением рассказывал о своем деле. Он, действительно, полюбил сельскохозяйственный труд и был очень доволен жизнью в коммуне, хотя и признавал, что коммунистические приемы организации труда себя не оправдали. Кто-то из соседних крестьян, недовольный тем, что коммуна заняла 40 десятин земли, на которые он рассчитывал, послал донос в местную Чеку, что коммуна разводит среди крестьян "контрреволюцию". При всей вздорности доноса, чекисты, ввиду тревожного настроения крестьян, "на всякий случай", в августе, перед самой уборкой урожая разгромили "коммуну", арестовав всех ее вожаков, т.е. всю администрацию. Арестованных переслали в Питер. Чека поместила их в военную тюрьму на Нижегородской, а оттуда они механически попали в список высылаемых на принудительные работы. Все это без всякого суда и расследования. Кто-то составлял списки, внес те или другие имена арестованных — и готово.

Брат Л. через Луначарского добился распоряжения об экстренном пересмотре дела студентов. Но в тот самый день, когда распоряжение состоялось, студентов со всей нашей партией отправили на 426-ю версту. Тогда — рассказывали мне — Луначарский попросил одного своего знакомого, видного ученого, специально проехать от Плесецкой на Емцы, передать студенту посылку и узнать, что там делается. Двое посланцев от Луначарского, действительно, еще при мне приезжали на полустанок Емцы. Студент получил от брата посылку и письмо, известиями

которого делился с нами. Но повидать лично ни одного из посланцев Л-у не позволили. В тот же вечер, впрочем, у него температура уже поднялась до 40, а дня через три он скончался от воспаления легких, осложнившегося воспалением мозга...

Как я уже описывал, условия жизни на "работах" были таковы, что просто в силу одного факта постоянного недоедания и вечной вшивости, арестанты обречены были на смерть. Но здоровые молодые люди все-таки не сдавались. Всячески старались выбиться, кто в конюхи, кто в санитары, кто в кубовщики или мастеровые. Заболевших отправляли на ст. Плесецкую, где была больничка и где кормили несколько лучше и не заставляли работать. У нас же в лагере, на 426-й версте, записанный больным и не отправившийся на работы вместо 1,5 фунта хлеба получал всего 0,5 фунта на день. В течение первых двух недель около 25 процентов подневольного населения лагеря свалилось с ног. Высланные вместе со мной, например, учитель А. и техник Ф. в бессознательном состоянии были отвезены сначала на Плесецкую, затем в Вологду, где около двух месяцев пролежали в больнице. Чем бы завершился весь опыт, сказать трудно, так как вмешались чрезвычайные обстоятельства. Англо-американо-архангельские белые войска решили перейти в наступление, без всякого труда прошли через те окопы и проволочные заграждения на 441-й версте, на которых я работал, взяли и сожгли и полустанок Емцы, и наш лагерь на 426-й версте, и даже станцию Плесецкую. Обо всем этом я узнал, уже будучи на свободе. Что случилось с большинством моих сотоварищей по этим гиблым местам, не знаю и по сей день...

За меня хлопотали литературные организации Петрограда и М.Горький. Обращались к Зиновьеву, Ленину, Стасовой, Яковлевой, которая тогда фактически стояла во главе петроградской Чеки. Некоторое время меня вообще не могли найти, так как петроградская Чека отрицала самый факт моей высылки в Вологду и на фронт. Оказалось,



что распорядилась самостоятельно комиссия, составлявшая списки высылаемых. Рассказывали мне, что Яковлева, узнав об этом, была крайне недовольна, так как я, в качестве члена Центрального Комитета к.-д. партии, подлежал отсылке заложником в Москву.

Мое "освобождение" или, точнее, пребывание на свободе с января по август 1919 года объяснялось, как выяснилось позднее, простым недоразумением, чрезвычайно характерным для тогдашней коммунистической администрации. Мои друзья хлопотали о моем возвращении в Петроград. Яковлева им обещала и вытребовала меня с архангельской дороги... для отправки заложником в Москву. Председатель вологодского Военно-Революционного Трибунала отправил меня в Петроград без конвоя и без письменного распоряжения о явке в Чеку. Приехав в Петроград и зайдя к М.Горькому поблагодарить его за хлопоты, я спросил его, как он думает, надо ли мне являться на Гороховую. Он дал мне благоразумный совет без специального приглашения в это учреждение не ходить. Я так и сделал, пожертвовав взятыми у меня при обыске рукописями, письмами, портфелями и документами. Нечто вроде вида на жительство мне удалось получить безо всякого участия в этом деле заведения на Гороховой.

Благодаря этому я получил возможность около семи с половиной месяцев пробыть в 1919 году в кругу своей семьи и наблюдать в Петрограде строительство коммунизма за это время. Прежде всего dokonчу рассказ о том, как я попал домой...

\* \* \*

Выйдя от председателя Военно-Революционного Трибунала в темный декабрьский вечер, мы с Р. очутились на улице совершенно незнакомого города, без денег, без ночлега. Но это нас мало смущало: впереди, хотя и да-

леко, маячили огни родного дома и энергии было достаточно. Я знал, что в Вологде жили некоторые видные общественные деятели кадетского и меньшевистского толка, знавшие меня хотя бы по печати, которые не откажутся нам помочь. Но я понимал, что едва ли они остались в городе, сделавшемся штаб-квартирой большевистских войск. Однако я решил попытать счастья. Остановив одного из редких вечерних прохожих, интеллигентного обывателя, я спросил его, не может ли он указать мне, как пройти к М., Т. или В. Он с недоумением, не без тревоги, внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Я с ними незнаком. Слышал, что никого из них тут давно нет. У прохожих лучше не спрашивать...

Я понял, что путь мой к добру не поведет (двое из моих знакомых, как я узнал позднее, в то время уже были арестованы). Тогда Р. вспомнил, что в Вологде жила его знакомая, когда-то очень известная филантропка С., собиравшаяся уезжать, но, может быть, еще не уехавшая. Во всяком случае, мы решили найти ее квартиру. Кто-нибудь там да остался. Этот "кто-нибудь" и послужит путеводной нитью для дальнейших поисков.

Нашли. Р. пошел на разведку. Я остался на улице с вещами на спине. Присел на крыльцо дома и стал ждать. Помню, на душе у меня было совершенно спокойно: ни на минуту не покидала уверенность, что сегодня же буду в поезде, а послезавтра утром у своих.

Действительно, через несколько минут выбежала девушка и попросила меня зайти. Мой спутник Р. уже преобразился: ему дали умыться, и он даже пристегивал к чистой рубашке крахмальным воротничок. Я очень извинялся за свой неприличный вид, просил, чтобы мне позволили умыться на кухне, искренне боясь, как бы не занести в благодарность великодушной женщине насекомых в ее спальню, где стоял умывальник.

Вид у меня, должно быть, и на самом деле был ужасный, если один из знакомых г-жи С., извещенный о нашем прибытии, когда я был ему представлен, не удержался от

своеобразного комплимента:

— И такого человека превратили в хулигана!..

Он несколько смутился, заметив улыбку на моем лице.

Нас накормили, напоили, дали денег, всякой снеди на дорогу, в том числе и вологодского масла в подарок семьям в голодный Петроград... Из рассказов за ужином мы узнали о бесчинствах, которые делались большевиками в Вологде: всех наиболее почтенных в городе лиц, в том числе духовных лиц разных исповеданий, не исключая и еврейского раввина, они направили на золотарные работы. Но так как к "коммунистическому строительству" вологодские коммунисты по каким-то причинам еще не приступили, то жизнь в Вологде сравнительно с умиравшим Петроградом, несмотря на близость фронта, казалась раем. Петроградцы массаами, невзирая на все рогатки и запрещения, наезжали в Вологду и, не останавливаясь ни перед какими деньгами, вывозили все продукты. Цены безумно росли. Население негодовало. Пользуясь этим, на железной дороге свирепствовали и бесчинствовали грабительские отряды с большой пользой для себя, но без какого-либо влияния на рост цен.

О железнодорожном движении мы услышали не очень приятные вещи. Большевики, правда, уже уничтожили бесплатное катание людей в серых шинелях, бывшее в такой моде до половины 1918 года. Но все поезда буквально штурмуются мешочниками, сильными, рослыми, по-солдатски одетыми людьми с пятипудовыми мешками за спиной. Частные пассажиры могут попасть только в специальные вагоны, если имеют какие-либо значительные командировки или влиятельные военные знакомства.

Поезд отходил в 12 ч. ночи, и нам, несмотря на все уговаривания переночевать, хотелось выехать сегодня.

— Попробуйте, — сказала радушная хозяйка, — если не удастся, вернетесь, завтра похлопочем...

Мы попытались и с огромными трудностями, наняв за большие деньги носильщика, были им втолкнуты в какой-то разбитый зеленый вагон. Если от Плесецкой до Волог-

ды мы в качестве арестантов ехали с величайшими удобствами в купе первого класса, то теперь мы как свободные российские граждане, с билетами первого класса, просто яли часа три около уборной в вагоне третьего класса, пока не пробилась в коридор и не уселись в проходе между скамьями на своих вещах. Но мы должны были все-таки благодарить Бога, так как за нами всегда стоял еще большой хвост постепенно напивавших людей. То и дело слышались жалобные голоса:

— Пустите, Бога ради, погреться. Ноги совсем застыли, стоять не могу больше...

В такой обстановке мы ехали почти полторы суток до Петрограда. Но мы ехали к себе, домой, к семьям — и доехали, наконец. Все было забыто. Одна мысль: что встретит нас дома?

Пройдя уже на вокзале какой-то последний таможенный осмотр, мы очутились, наконец, на Малом Невском. Извозчиков уже не было. Их место заняли мальчишки с санками, запрашивавшие большие цены.

До моей квартиры было близко.

Минут через 25 я был уже у своих...

\* \* \*

В ночь на 5 ноября 1918 г. я был арестован. Утром 6 января 1919 г. нов. стиля вернулся домой. 6 января нов. стиля — 24 декабря по-старому, т.е. Сочельник. Я вернулся в свою семью в Сочельник, и вечером, придя из церкви, мы вчетвером сидели за кутьей и вразбивку радостно делились впечатлениями о пережитом. Невольно вся история моего первого ареста и первой ссылки окрасилась в цвета рождественского рассказа...

Впереди меня ждали новые испытания. Они закончились уже не рождественским рассказом в духе Диккенса, а подлинной трагедией, разрушившей семью и совершенно обесценившей для меня остатки моих дней.

**И. Рапопорт**

**ПОЛТОРА ГОДА  
В СОВЕТСКОМ  
ГЛАВКЕ**

**"Архив русской революции", т. XI, 1923.**



С начала 1919 г. по сентябрь 1920 г. мне пришлось прослужить в одном из видных промышленных учреждений Советской России, занимая должности последовательно от делопроизводителя до управляющего отделом (в качестве "специалиста"). Личные наблюдения, накопившиеся у меня за время этой службы, могут быть небезынтересны, как потому, что дают известный материал для общей картины жизни центральных советских канцелярий, так, в частности, и потому, что описываемое мною учреждение — Главный Лесной Комитет и входящее в его состав Управление Деревообрабатывающей Промышленности — является одним из наиболее важных главков.

В ведении этого Управления состоят все предприятия по механической обработке дерева (лесопильные и фанерные заводы и т.д.), а также промышленность по кустарной обработке дерева по всей Советской России, включая Украину, Сибирь, Кавказ; общее число подведомственных Управлению предприятий — около 2000. Уже это обстоятельство — неопределенность для самого Управления числа управляемых предприятий — крайне характерно для всей "работы". Еще более гадательным являлось число рабочих в предприятиях: по одним данным, к лету 1920 г., это число равнялось 44000 чел., по другим, к тому же времени, — 120000 чел. Обе цифры без разбора давались как официальные данные и клались в основание докладов, декретов и распоряжений. О том, какие заводы работают,

какие стоят и почему, сведения чисто случайные и проблематичные. Только летом 1920 г. удалось заставить заводоуправления сообщать о случаях уничтожения заводов пожарами, и надо отдать справедливость: ответы посыпались, как из рога изобилия. Еще менее знают в центре, что именно и как делают немногие работающие заводы: подавляющая масса заводов не дает ни производственных отчетов, ни отчетов в израсходовании лесных материалов и миллиардов рублей, отпускаемых по сметам и беспрепятственным сверхсметным требованиям.

Не надо, однако, полагать, что центральные учреждения не делают попыток к налажению отчетности. Совершенно напротив: и Главлеском, и его Управление Деревообработыв. Пром., и все отделы и подотделы последнего беспрестанно вырабатывают самые остроумные формы отчетных бланков и ведомостей. Эти же формы составляет и Центральный Статистический Комитет, и Финансово-Счетный отдел Высовнархоза, и бывший Департамент Неокладных Сборов, не помню, как переименованный, и т.д., и т.д. Все эти различные формы претендуют на всеобъемлющность и научную точность; некоторые из них не умещаются на простых листах бумаги, а располагаются на простынях, склеенных из нескольких листов. Выработанные формы, с самым категорическим приказом о заполнении и с угрозами чрезвычайкой, рассылаются одновременно и разновременно по местам и через несколько недель попадают на лесопильный завод. Во главе завода в лучшем случае стоит полуграмотный приказчик, для которого все эти противоречащие друг другу анкеты и требования совершенно невыполнимы. Да и на немногих более крупных предприятиях, где имеется интеллигентный персонал, бланки и формы центра являются непосильным бумажным дождем. Как на результат подобной постановки отчетности укажу на следующие примеры. 3 января 1920 г. в наше учреждение, как и во все прочие главки, прибыла срочнейшая телефонограмма Ларина с предложением представить ему не позднее 1 ч. дня 5 января



основной отчет по управляемой отрасли промышленности за 1919 г. по следующим пунктам: число заводов, работающих и неработающих, число рабочих и служащих, количество потребленного сырья и технических материалов, количество выработанных лесных материалов, истраченные суммы денег. За исполнение работы к сроку обещалась соблазнительная премия: на каждого участника работы по 2 ф. сахара и четверть чая. "Мобилизовали" сотрудников, засели за вечерние занятия. Первым делом обратились в Статистико-Экономический Отдел Главлескома, который должен получать два раза в месяц телеграммы с заводов о ходе работы. Однако мы нашли там сведения только с 5 заводов за разрозненные месяцы; остальные 2000 с лишним заводов отчета не дали. Кинулись опять к переписке и толстым "делам" Управления, но и там нашли не больше. Между тем, начальство требует отчет; 2 ф. сахара к праздникам — соблазн немалый, — и отчет был составлен "логическим" путем: взяли приблизительное число заводов, интуитивно определили число работающих станков, путем умножения на 25 вывели число рабочих и таким же гениально простым путем получили все остальные нужные цифры. Отчет был представлен Ларину за 2 часа до срока и, вместе с другими, составленными, как я слышал от участников, по тому же рецепту, лег в основание докладов и прений в заседаниях Президиума Высовнархоза и Совнаркома.

Другой подобный же случай произошел весной 1920 г. После занятия Архангельска председатель Главлескома Ломов, главным талантом которого является способность говорить когда угодно, о чем угодно и сколько угодно, отправился туда для организации Советского Севера. По возвращении в Москву Ломов просил представить ему доклад о состоянии российской деревообрабатывающей промышленности. Доклад пришлось составлять мне, и он был так же высосан из пальца, как и отчет за 1919 г. При всем желании более добросовестно отнестись к делу, это было невозможно, а отчет подавай во что бы то ни стало.

Когда вскоре после этого в Москву прибыла английская рабочая делегация и один из членов ее, деревообделочник Парсель, посетил Главлеском, ему был вручен этот же доклад. Не знаю, что сделал Парсель с ним по возвращении в Англию, но уверен, что все прочие сведения, даваемые советскими деятелями иностранным гостям, интересующимся состоянием русской промышленности, не могут похвастаться большей степенью достоверности. Кстати, с Парселем при том же посещении произошел и другой курьез. Необходимо было показать знатному гостю не только бумаги, но и произведения советской промышленности. Подвели его к шкафу, в котором красовалась прекрасная коллекция всевозможных катушек для текстильных фабрик, — вот, мол, наша советская работа. На беду, англичанин взял одну катушку в руки. Помню его улыбку и легкий конфуз коммунистического чичероне, когда мы увидели на обратной стороне катушки марку английской фирмы.

Если такова осведомленность Управления о работе подведомственных ему предприятий, то нетрудно себе представить, каковы реальные основания для всевозможных "производственных программ", "заданий" и т.д. на будущее время. Неудивительно, что и сам Президиум Высовнархоза, эти программы утверждающий, усвоил себе критическое отношение к ним и механически сокращает в несколько раз предполагаемые программы и сметные суммы главков. Впрочем, последние перехитрили Президиум и предусмотрительно умножают сметные суммы на соответствующий множитель. Краткий, но яркий пример: смета Кустарного отдела Управления на 1920 г. была подана на сумму 44 миллиарда рублей, утверждены — 6 миллиардов. Не надо говорить, что действительной работы едва ли будет произведено на несколько процентов отпущенной суммы. Другой пример, иллюстрирующий степень понимания действительного положения вещей руководителями российской промышленности. В августе 1920 г. была составлена "производственная программа на

1920—21 гг.". Оказалось, что потребность в обработанных лесных материалах, заявленная одними только важнейшими центральными учреждениями (причем эти заявки были, разумеется, выведены по общему советскому методу), превышает вдвое максимум возможной выработки, при совершенно неправдоподобном предположении, что все более или менее исправные заводы будут снабжены сырьем и смогут работать. Когда об этом было доложено одному из руководителей Главлескома, Кабанову, он разрешил вопрос очень просто: "Ну что ж, придется приказать немедленно построить недостающее количество заводов". Надо знать жалкое состояние существующих заводов, полное отсутствие материалов и технических сил, чтобы вполне оценить эту фразу.

При всех этих условиях, управление промышленностью из центра сводится к составлению и пересоставлению всевозможных организационных, производственных и строительных планов, к громадной, но случайной переписке по выплывающим отдельным вопросам и к разрешению дразг и конфликтов местных органов.

Но, может быть, все это только недостатки бюрократического центра, против которых борются и коммунисты, может быть, настоящая производительная работа ведется местными органами, далекими от бумагомаранья и воодушевленными деловым рвением? Как многомесячная переписка, так и личное знакомство с очень большим количеством вечно разъезжающих в Москву "делегатов" убедили меня в том, что советские "места" работают гораздо хуже центра. Нашими "местами" были: в каждом губернском городе — Гублескомы или Гублесы, в уездных городах — Уездлескомы, на заводах — заводоуправления. Служащие (помимо рабочих) всех этих учреждений составляют армию в несколько тысяч человек. Вот пример работоспособности и добросовестности этих органов, при том пример типический. Владимирский Гублеском одно время стал присылать в Москву настолько аккуратные отчеты, что невольно явилось сомнение в их даже прибли-

зительной правильности; при первой же проверке оказалось, что в отчете давались сведения о работе в 1920 г. заводов, сгоревших в 1916 г. Элементарные бухгалтерские книги на заводах запущены на целые годы, даже при наличии конторского персонала. Куда деваются получаемые из центра десятки миллионов — никто не может сказать, — одним словом, о местных органах можно повторить все, сказанное о центре, с той разницей, что здесь еще больше невежества и наглости.

Все это не значит, однако, что в составе Главлескома и его органов находятся исключительно бездарные или ленивые люди; напротив, среди служащих есть много действительных и усердных специалистов лесного дела, но поставленная перед ними задача — выполнить невыполнимое, да еще при невозможных условиях жизни и под руководством кучки коммунистов и авантюристов, диктаторствующих и фантазерствующих как в центре, так и на местах, — неизбежно приводит к работе по описанной системе. Самое большее, что может сделать человек, силой обстоятельств вовлеченный в советское учреждение и не желающий активно участвовать в разрушении остатков русской промышленности, это избегать и, по мере возможности, предотвращать эксперименты, направленные непосредственно на разрушение материальных ценностей будущего, например, вырубку на дрова лесных площадей вокруг лесопильных заводов и т.д.

Что же является все-таки реальной силой,двигающей всю огромную переписку, заставляющей создавать фантастические сметы и проекты и поддерживающей работу немногих неостановившихся станков?

Мне мало приходилось непосредственно наблюдать настроение рабочих, но одно можно сказать определенно: "коммунистического воодушевления трудом" нигде нет и в помине, так называемая "рабочая дисциплина" и производительность труда упали до минимума. Работа ведется или по инерции там, где сохранились остатки прежней организации в виде нахождения бывшего владельца или

его доверенного в составе заводоуправления, или ввиду того, что лесопилка связана с мельницей, размалывающей за незаконные поборы натурой зерно местных крестьян, которым сбывают и доски с завода, или же, наконец, в силу отсутствия другого выбора. Необходимо также помнить и о декретированном прикреплении к месту работы. Несмотря на это, когда голод становится совсем невмозможу, рабочие целыми партиями бросают завод и уезжают в далекие губернии за хлебом.

Среди служащих определенно различаются три основные группы: масса низших канцелярских служащих, средние и высшие "ответственные" служащие-специалисты и, наконец, коммунисты, задающие тон всему этому концерту. Состав массы канцелярских служащих довольно серый. Большой процент составляют "советские барышни", с очень малой степенью грамотности и абсолютным нежеланием хоть сколько-нибудь вникнуть даже в ту механическую бумажную работу, которую они выполняют. В последнее время "Рабоче-Крестьянская" Инспекция усердно занялась насаждением в этой среде "трудовой дисциплины". К нам в Управление был командирован инспектор-коммунист, записывавший в штрафной журнал всех, являвшихся на службу позже 10 ч. 15 м. утра; опоздавшим грозила кара в виде лишения пайка и т.д. Эти меры могли бы иметь смысл только в том случае, если бы к каждой барышне можно было приставить на все время по коммунисту; впрочем, и это не помогло бы, ибо инспектора гораздо менее интеллигентны, чем служащие, и не могли бы уследить за ними. На этих-то барышнях, в сущности, и держится вся система советского бюрократизма: без них нельзя ни написать бумаги, ни отправить ее, ни выдать ордер, ни составить сметы и т.д. Есть среди канцелярских служащих и почтенные труженики, и люди, стоящие по своему прошлому, по своим способностям и знаниям много выше своего нынешнего положения; мне кажется, однако, что таких людей не так уж много, ибо отсутствие среди коммунистов интеллигентных сил и невыносимые условия

жизни почти механически выдвигают каждого мало-мальски дельного человека. При этом не совсем правильно, по крайней мере, в пределах моего опыта, утверждение, что служащих заставляют записываться в коммунисты или выдавать себя за сочувствующих; правда, бывали и у нас анкеты о партийной принадлежности, но при мне можно было обойтись ссылкой на беспартийность и даже на "независимость". Условия жизни канцелярских служащих действительно ужасны. Жалованье смехотворно, паек абсолютно недостаточен, тем более, что он выдается полностью только "ответственным", — одно из применений принципа равенства. Перед служащими стоит вечная дилемма: или буквально умирать с голода, или, рискуя жизнью, заниматься спекуляцией.

Но гораздо важней для понимания пружин, двигающих советский промышленный механизм, является психология "ответственных" чиновников, в руках которых находятся распорядительные функции и которые создают и руководят осуществлением бесчисленных планов и проектов, ежедневно рождающихся в советских канцеляриях и направленных к достижению полного коммунистического идеала. Это те лица, которые заменили бывших лесопромышленников, заводовладельцев, директоров и членов правлений, т.е. нынешние члены коллегий, управляющие и заведующие всех рангов, уполномоченные, агенты и т.д. На высших ступенях этой иерархической лестницы (советская табель о рангах включает не менее 27 степеней), как в центре, так и на местах стоят коммунисты; под их контролем — спецы. Социальный состав и стаж всех этих лиц разнообразен: много бывших лесных служащих и приказчиков, есть и лесопромышленники, много людей свободных профессий и бывших чиновников всех ведомств, до полиции включительно. Впрочем, для коммуниста не требуется никакого стажа, кроме партийной принадлежности. Во главе Украинского Лескома стоял студент одного из первых курсов медицинского факультета Малюта, до своего нового назначения в короткий срок проваливший лесо-

заготовительную кампанию на Урале; во главе гублескомов стояли и стоят слесаря, сплавщики и даже... шарманщики — председатель Витебского Гублескома Плющев, вовремя сбежавший с казенными деньгами.

Формально условия жизни ответственных служащих немногим лучше остальных: несколько лишних тысяч в месяц или нерегулярно выдаваемый скудный паек не меняют положения. Это не относится к коммунистам, которые черпают полной рукой из остатков государственного и частного достояния. Но к двум возможным выходам — умирать с голода или спекулировать, для высших и средних служащих присоединяется и третий — злоупотребления по службе, и по этому пути пошло громадное большинство. Тон и здесь задают коммунисты, по-видимому, *l'appétit vient en mangeant*.

Можно категорически утверждать, что подавляющим большинством всех этих людей движет тот же могучий рычаг личного интереса, который объявлен одним из отживших принципов капиталистического общества. Так как, однако, коммунистический строй официально упразднил личную заинтересованность в производстве, связанную с принципом частной собственности, то заинтересованность эта неизбежно направляется в нелегальное и часто вредное для самого производства русло: гони природу в дверь, она влетит в окно. Никакие премии не могут изменить дела, ибо они не в состоянии угнаться за стоимостью жизни и за опасными, но крупными незаконными заработками.

Нет ни одной сметы, ни одного проекта, ни одной хоть сколько-нибудь существенной бумаги, за которой не скрывался бы чей-нибудь движущий ее частный интерес, не имеющий ничего общего с предполагаемым интересом социалистического производства и обычно ему совершенно противоположный. Так как каждая бумажка рождает целую переписку ряда учреждений, то наблюдатель иногда не сразу может определить, за какой из этой цепи бумажек скрывается личный интерес и в чем он состоит; но стоит

вглядеться повнимательней, поговорить с участниками переписки, — и вы неизбежно увидите где-либо тот же скрытый двигатель личной выгоды.

Составляется годовая смета завода или целого Гублескома. Главлескомом отпускается по смете громадная сумма денег, отчет в израсходовании которой дается когда угодно и как угодно. Да дать отчет и нетрудно. Так, например, в смете есть пункт расходов по заготовке и подвозке к заводу круглого леса для распиловки; расстояние равно 1 версте, чаще всего лес заготовлен еще бывшим владельцем и лежит на заводе уже несколько лет. Получается громадная "экономия" в расходах, о которой центр ничего не знает и знать не может: посылать на все заводы людей для проверки работы нет возможности, и, наконец, и эти люди тоже только люди и хотят есть. Формально все в порядке: на расходы по возке имеются оправдательные документы в виде самодельных расписок от имени крестьян-возчиков в получении денег и, что самое главное, продовольствия за возку. Строится новый завод или ремонтируется старый, и на постройку получается, при известной энергии, такое количество всяких станков, машин, материалов, ремней, которого хватит на десяток заводов и стоимость которого в нынешней России неисчислима; завод строится годы, а материалы переходят с казенных складов на нелегальный частный рынок, опять покупаются за громадные деньги Отделом Снабжения того же или другого Главка и начинают дальнейшее *perpetuum mobile*, обогащая всех, прикосновенных к постройке завода, к снабжению главков и т.д. Подаются и утверждаются миллионные сметы на давно сгоревшие или заведомо и безнадежно бездействующие заводы. Один из Гублескомов прифронтовой полосы, при малейшем слухе о приближении к городу фронта, отстоящего за несколько десятков верст, немедленно сворачивался; через несколько дней слухи оказывались неосновательными и обязанными своим распространением чуть ли не самому Президиуму Гублескома. Через несколько дней делегат Гублескома



едет в Москву просить пил, топоров, продовольствия, ибо прежние запасы Гублескома, разумеется, со всеми отчетами, исчезли при эвакуации. Подобных "комбинаций" можно привести бесконечное множество, и в них обыкновенно участвуют не только провинциальные головоотяпы, но и "товарищи" из центра, рассматривающие и утверждающие эти сметы и заявления. Несколько "идейных" коммунистов, подпись которых иногда требуется на нужной бумажке, или не в состоянии разглядеть смысл подсовываемой им переписки, или, чаще всего, на время прячут свою идею в карман. Правда, там, где они чувствуют себя обойденными, они строго блюдут интересы коммунистической республики.

Независимо от этого непосредственного присвоения и расхищения казенного имущества, процветает и взяточничество в собственном смысле. Казалось бы, кто и за что станет давать взятки, когда частной промышленности нет и в результате работы никто не заинтересован; тем не менее, и дающих, и берущих еще очень много. В области заготовки и вывозки дров и лесных материалов, где допускается, в извращенной и хищнической форме, частная инициатива в виде сдачи подрядов, берут при подписании договоров, берут за отвод лесных площадей, берут за выдачу авансов, берут за отпускаемое продовольствие и инструменты, берут при приемке дров, берут за подлоги в обмере дров и в указании расстояния возки, — словом, всех возможностей взять не перечесть. В деревообрабатывающей промышленности, имеющей дело с национализированными заводами, соприкосновения с частными лицами меньше; но и здесь берут за отсрочку национализации, за требующийся состав Правительственного Правления завода, за сдачу подрядов, за отпуск лесных материалов и т.д. В последнее время, в связи с дальнейшими шагами в проведении принципов чистого коммунизма, легальная область частной инициативы сокращена почти до нуля; однако многие находят, что новый способ работы — "хозяйственный", по сметам, о порядке со-

ставления которых уже говорилось, гораздо выгоднее и спокойнее подрядного. К тому же, взятки дают не только частные лица, но и учреждения: Продрасмет не отпустит Главлескому пил, Наркомпрод — продовольствия, Главкож — кожи без "смазки" соответствующих лиц; в свою очередь, при распределении Главлескомом этих предметов или лесных материалов между другими учреждениями дело не обходится без взяток.

Суммы отдельных взяток и хищений варьируются, смотря по роду проводимой операции и по чину берущего, от тысяч до миллионов рублей. Немудрено, что молва приписывает отдельным лицам, коммунистам, стоящим во главе Главлескома, состояния во много десятков миллионов, что многие заводы, по нелегальным сделкам, перешли из рук прежних владельцев в собственность нынешних фактических хозяев. Кроме денежных взяток весьма распространены и, казалось, совсем старомодные приношения натурой. При колоссальной дороговизне в столицах несколько фунтов сливочного масла, мешок муки и т.п. имеют более реальную ценность, чем целые пачки советских тысячных билетов.

Берут и совершают злоупотребления целыми организованными товариществами, берут и в одиночку. Все отлично понимают друг друга с полуслова и даже без слов; атмосфера взяточничества всецело царит в учреждениях. Соблюдается правило: не пойман — не вор. Пока служащий не попадет на удочку агента-провокатора или не проворуется уже слишком неловко, ни у кого не возбуждается вопрос, каким образом этот человек, больше того — коммунист, получающий максимум 25—30 тысяч в месяц, может тратить сотни тысяч в вечер на вино, карты и т.п. Еще раз повторяю, что во всем этом в особенности отличаются коммунисты и полукоммунисты, занимающие наиболее ответственные места членов коллегий, начальников Управлений, председателей важнейших местных органов.

Как ни парадоксально покажется подобное утвер-

ждение, но это колоссальное развитие злоупотреблений имеет свои положительные стороны, как с точки зрения коммунистической промышленной деятельности, так и с противоположной точки зрения материальных интересов будущей русской промышленности. Не будь замешаны во всех советских промышленных комбинациях соображения личной выгоды, отмерла бы главная часть деятельности учреждений, исчезла бы или сократилась до минимума "производственная инициатива", лишенная своего действительного стимула. Далее, если промышленность еще кое-как удерживается на современном низком уровне и только постепенно опускается на самое дно, если заготовка дров в прошлом году дала некоторый положительный, по нынешним условиям, результат, если незначительная часть заводов еще кое-как движется, то только благодаря этому вездесущему и неискоренимому личному интересу. С другой стороны, ему же обязана русская промышленность тем, что не все заводы расхищены, не все запасы лесных материалов уничтожены, сожжены или распроданы. Таким образом, и в коммунистическом "хозяйстве" единственной живой и организующей силой является индивидуальный интерес. Выбитый из обычного русла, он продолжает течь под почвой и обходится производству во много раз дороже всякой "прибавочной стоимости", давая несравненно меньшие результаты.

В заключение коснусь вопроса об экспорте из России лесных материалов, развитие которого в пределах Главлескома я имел возможность наблюдать в самой непосредственной близости. Предписание свыше о выяснении возможности экспорта и подготовке к нему было дано в начале 1920 г. Одновременно начат был отбор так наз. ударных заводов, предназначенных для работы на экспорт и другие первостепенные нужды и, с другой стороны, определение количества экспортных материалов, как доставшихся большевикам в Архангельске, так и захваченных у владельцев в Петроградском порту и в других пунктах северо-западных губерний. Идея концессий, в нынешних

широких размерах, еще не всплыла вторично на поверхность. К сентябрю выяснилось следующее. После многомесячных споров и интриг около 150 лесопильных, фанерных и других заводов были объявлены ударными. В их числе есть действительно бывшие первоклассные заводы, но входят туда и такие предприятия как создание советского строительства Рязанский Государственный завод, усердно рекламируемый в советской прессе, — полшарлатанское предприятие, собранное из растасканного имущества Земского Союза, тратящее колоссальные средства и изготавливающее никуда не годные фанерные бараки для солдат, жестяные чайники и т.п., но зато доставляющее весьма аккуратно крупу, муку, масло и прочие промышленные произведения того же рода на подводах из Рязани в Москву, для гг. членов коллегии Главлескома. К ударным же заводам отнесены и совершенно фантастические Сухонские Государственные заводы: предполагается построить около Вологды невиданных размеров универсальные заводы всех видов обработки дерева; постройка ведется невежественными авантюристами без всякого плана, до сих пор не определено точно расположение будущего завода; между тем для постройки разрушено несколько прекрасных заводов (заводы Малютина и др. на р. Сухоне), растаскано с различных складов и заводов на много миллионов машин, ремней, гвоздей, большая часть чего расхищена, не дойдя до места; об астрономических суммах затраченных денег говорить не приходится.

Перспективы работы ударных заводов в текущем, да и в будущем году совершенно ничтожны. Сырье для заводов (бревна) не может быть заготовлено и подвезено вовремя и в достаточном количестве, ибо Наркомпрод не в состоянии будет дать даже минимального количества продовольствия для работы; заводы, даже лучшие, находятся в совершенно расшатанном состоянии, нет инструментов и технических материалов (в частности, совершенно отсутствуют клеевые вещества для фанеры), рабочие не работают, управляющие не управляют — одним словом, общая

картина советской деятельности, по существу не меняющаяся от того, что данная группа заводов поставлена в несколько лучшие условия снабжения, чем остальная масса всецело заброшенных предприятий. Это скоро поняли и советские экспортеры и обратили главное внимание на более легкую и эффективную работу — приготовления к вывозу лесных материалов — планок, фанеры и т.п., — захваченных у частных владельцев. Материалы эти находятся в количестве двух с лишним десятков тысяч стандартов (по советским данным к сентябрю месяцу), что составляет довоенный оборот одной фирмы, — в Петрограде, Архангельске и других определенных пунктах и сравнительно легко поддаются учету. Когда учет, с грехом пополам, был произведен, начались разные экспортные манипуляции. Товар от лежания на месте в течение нескольких лет сильно испортился и вряд ли в таком виде понравится англичанам: необходимо его пересортировать и отторцевать (обрезать потемневшие концы). Через несколько недель работа эта, за малоуспешностью и неутешительностью результатов, была прервана. Сомневаюсь, чтобы при этом были возвращены суммы, полученные "за содействие" при сдаче подрядов на сортировку. Затем была придумана следующая коммерческая хитрость: в Петрограде товар лучшего качества, чем в соседних губерниях; нельзя ли предварительно смешать в натуре все эти материалы для того, чтобы незаметно сбыть англичанам и второсортные доски. Эта первобытная хитрость, предполагающая, что иностранцы будут принимать товар не по осмотру, а по "марке", для своего осуществления потребовала бы колоссальных непроизводительных затрат средств и обогатила бы несколько лиц. К концу сентября эта "работа" не была начата точно так же, как подобная операция над архангельским товаром, намечавшаяся с обратной целью: предполагалось перепутать товар различных фирм, чтобы сделать, на всякий случай, более затруднительным определение действительных собственников. Таким образом, уже тогда советские экспор-

теры предчувствовали возможность таких случаев, как недавний приговор английского суда по иску Лютера. Помню радость и гордость новоявленных экспортеров, почувствовавших себя признанной фирмой после отправки партии лютеровской фанеры, беспрестанные разговоры по прямому проводу с Петроградом, широкие планы на будущее и т.д. Когда я через несколько дней, уже оставив службу, задал вопрос Замначупдревпрому (по-русски — Заместителю Начальника Управления Древообрабатывающей промышленности), не думает ли он, что за границей могут признать собственниками импортируемого из России товара прежних владельцев, он улыбнулся и ничего не ответил. Между тем, право собственности и на остальной экспортный товар может быть точно установлено, хотя бы потому, что соответствующие русские и иностранные фирмы, конечно, имеют гораздо более полные и точные сведения о количестве и движении своего товара, чем все лескомы и наблюдающие за ними чрезвычайки вместе.

Мои наблюдения заканчиваются сентябрем прошлого года и относятся только к Главку, где я служил. Нет никакого сомнения, однако, что порядки всех других Главков и Центров не лучше, если только не хуже, в чем меня убедили как случаи, когда приходилось непосредственно сталкиваться с другими учреждениями, так и рассказы служащих в этих учреждениях лиц; с другой стороны, если и произошли с тех пор перемены лиц, названий и "организации", эти перемены не могут улучшить самую систему и, во всяком случае, бессильны вызвать хоть какую-нибудь созидательную работу.

Рига, 3 января 1921 г.

**Д. Лутохин**

# **СОВЕТСКАЯ ЦЕНЗУРА**

**По личным  
воспоминаниям**

**"Архив русской революции", т. XII, 1923.**





В 1919 г., сначала при Обществе Взаимопомощи Литераторов и Ученых, а затем самостоятельно, начал А.Е. Кауфман выпускать ежемесячно небольшими тетрадями "Вестник литературы". Первоначально журнал, главным образом, посвящен был "былому" русской литературы — и, кроме того, давал рецензии вновь выходящих книг и литературную хронику. Одно время это был единственный несоветский журнал в России. И потому им очень интересовались, особенно в провинции. "Вы не можете себе представить, — говорил мне один провинциальный педагог, — какую роль играл для нас этот журнал. Как внимательно мы его читали, каким событием было получение нового номера"... Весной 1921 г. петербургские литераторы торжественно отпраздновали 2-летний юбилей журнала, устроив задушевное чествование престарелого редактора — создателя журнала. Два года — в Советской России, да еще для неказенного журнала — очень большой срок — и поэтому "юбилей" не вызвал недоумений.

Провозглашение нэпа породило в обществе надежды на смену политического курса. "Бытием определяется сознание" — одно из основных положений Маркса, и большевики, развязывая стихию народного хозяйства, как будто бы сами подготавливали раскрепощение жизни вообще. А.Е.Кауфман очень дорожил своим изданием, очень берег

его от цензурных кар, но все же нашел возможным со второй половины 1921 г. несколько изменить содержание журнала. В последнем стали появляться статьи публицистического характера, кое-где начинала проскальзывать робкая оппозиция. В одном же из последних номеров "Вестника" за 21 год появилась небольшая статья Ю.И. Айхенвальда, с превеликой наивностью, крайне ехидною, указывающая на неуместность в Советской России чествовать память автора "Бесов". Некоторые принимали эти мысли за чистую монету и начинали защищать... Достоевского. Большевистские же генералы статью поняли. Особенно негодовал московский генерал-губернатор Каменев. Какой-то личный секретарь Ленина, приехав в Петербург, просил дать ему для патрона два полных комплекта журнала. Греха таить нечего: старый редактор был и взволнован, и польщен таким вниманием "высоких особ". Никаких предостережений, никакого усиления цензурного гнета, несмотря на обнаружившийся вдруг к журналу интерес в Кремле, — не последовало.

А.Е.Кауфман давно уже страдал сердечной болезнью и последнее время не расставался с пузырьком нитроглицерина. Тем не менее, ему приходилось очень много ходить и постоянно быть в работе. Гос. Издат. менял типографии, в которых разрешено было печатать "Вестник" — иногда распоряжение о немедленной передаче заказа в другую типографию делалось, когда весь номер был уже набран. И старику нужно было бежать к начальству: хлопотать об отсрочке распоряжения, улаживать дело в типографиях и т.п. Он был ревнив к своему литературному детищу и никого не подпускал к изданию. Сам ведал всеми редакционными и техническими деталями выпуска журнала. Очень удручала его и материальная сторона дела. Конторы у журнала не было, журнал сдавался на комиссию — а следуемые суммы уплачивались комиссионером иногда с такой задержкой, что составляли к моменту расчета при хроническом обесценении рубля действительно *quantité négligeable*.

Единственно, на чем можно было наводить экономию, — это на гонорарах сотрудников. И они были мизерны. Старик очень волновался за будущее журнала. А тут начались еще расхождения с коллегами по корпорации по вопросу о задачах литературных учреждений... А.Е. почувствовал себя в одиночестве. И стал быстро чахнуть. В декабре 1921 г. его не стало. Смерть свою он предвидел и говорил мне, что хотел бы видеть во главе издания Н.О. Лернера. Последний, однако, желания взять дело в свои руки не обнаруживал. Между тем, все материалы редакции Б.О.Харитон по поручению вдовы покойного передал мне. Следующий номер уже набирался. И я, будучи ближайшим сотрудником А.Е. по журналу и одним из душеприказчиков покойного, с согласия остальных взял на себя редактирование журнала. Издательницей журнала была теперь вдова А.Е. — М.С.Кауфман. Кроме заметок, посвященных памяти почившего редактора, все остальные статьи были уже выправлены покойным А.Е. И номер вскоре вышел, не встретив каких-либо затруднений в цензуре. Второй двойной номер (38—39 от основания журнала) я решил выпустить, уже обновив его программу (введена была беллетристика, введены научные статьи, усилена публицистика) и изменив самый "тон" журнала. Выпуск следующего номера, в котором были помещены неизданные тексты Пушкина, найденные П.Е.Щеголевым, хотелось приурочить к пушкинским поминкам — дню его смерти. Номер нужно было представлять для получения разрешения на выпуск револ. цензуре (предварительной цензуры для журнала не было). Ведала этим типография. Из нее мне вдруг сообщили, что цензура номер задерживает. А до пушкинских поминок оставался один день. Пришлось ехать в цензуру самому. Какой-то молодой человек в военной форме сообщил мне, что разрешение выпуска встретило затруднения. "Весь номер составлен у вас чересчур... скользко, — заявил он, — две-три статьи особенно нас смутили. И мы послали номер в Чека". — "Что же, это предрешает запрещение номера?"

— спросил я. "Трудно сказать, вероятнее всего, что да. Подождите". Ждать пришлось целый день. Я торопил, просил снести по телефону, но лишь часу в шестом вечера, когда почти все служащие цензуры разошлись, номер был возвращен из Чека с резолюцией: "Номер безусловно пропустить за исключением рассказа "Бандит", тоже не очень вредного". "Значит, и "Бандит" пропустить можно с купюрами?" — спросил я. "Нет, Лучше отложите его до следующего номера, мы вчитаемся в рассказ и устраним в нем вредное", — серьезно заявил мне цензор. Пришлось на это пойти — но номер нужно было переверстывать, и к пушкинскому торжеству он, конечно, опоздал: номер был сравнительно большой, в 5 листов.

Вскоре после выхода этого номера цензура была преобразована, учрежден был отдел печати при Гл. Полит. Управлении, поместившийся в Петербурге в квартире редакции бывшего "Правительственного вестника", на Фонтанке, 57. Введена была для всех частных изданий, как общий порядок, предварительная цензура. Я начал представлять в ГПУ материалы для следующего номера, как вдруг получил лаконическое извещение от этого учреждения о том, что дальнейшее издание "Вестника литературы" прекращено. Пошел узнать — почему? — "За общее направление". — "По чьему распоряжению?" — "Москвы". — "По чьей инициативе?" — "Не знаем". Я написал памятную записку, в которой указал, что даже петербургская Чека признала безусловно возможным выпустить последний номер, что никаких указаний о неуместности той или иной темы, той или иной статьи, того или иного сотрудника редакция никогда не получала. Поэтому делать ее ответственной за номер, разрешенный и военной цензурой, и Чека, представляется неправильным. Записку эту я послал в Совет Народных Комиссаров. Через некоторое время — по протекции — мне частным образом сообщили, что записка моя рассматривалась, запрещение журнала признано было неправильным, но отменять распоряжения ГПУ сочло неудобным. Предложили просить о

разрешении под новым названием журнала, обещали немедленно разрешение дать.

Между тем, пока шли переговоры с Москвой, заведующий отделом печати в Петербурге Быстрянский заявил мне, что, хотя право разрешать новые периодические издания у них отнято и передано Москве, он может разрешить мне издание неперIODического сборника. Обращаться в Москву, где, как мне было известно, этим вопросом ведали злостные и не вполне вменяемые Мещеряков и (врач по профессии) Лебедев-Полянский, я не хотел и пошел на комбинацию с выпуском сборников, тем более, что подписки на журнал в РСФСР не существует. Мне было дано разрешение представлять материал на цензуру в гранках, причем более "сомнительные" статьи я давал на цензуру в рукописи, чтобы не тратиться зря на набор. Я указал в отделе печати, что запрещение "Вестника литературы" заставляет меня быть предусмотрительным и что по отношению к статьям скользким я буду сам просить их быть внимательнее. Рассказ "Бандит", представленный в цензуру под новым названием "Лес рубят — щепки летят" и сильно переделанный, — был цензурой пропущен, причем очень смягчена лишь сцена расстрела "бандита". Рецензия А.С.Изгоева на издание Екатеринбург. Губисполкома "Из истории рабочего движения на Урале" была запрещена целиком. В рецензируемой книжке впервые появилось описание убийства царской семьи, и рецензия сжато, но передавая стиль повествователя, излагала историю убийства. Запрещение было мотивировано так: "Писать о трагедии (sic!) дома Романовых можно лишь на основании строго проверенных научных материалов, которыми разбираемая книга не является, почему заметка невольно сводится к запоздалой сенсации. Безусловно запретить". В некоторых статьях кое-какие купюры были сделаны, но в общем книга особенно не пострадала от цензуры и вышла без задержек. Военная цензура, в которую книжку все же надо было представлять для окончательного разрешения уже в сверстанном виде, давала

его без затруднений. Книга вышла — и вызвала некоторое раздражение в советской печати. Особенно не понравилось воспроизведение в "Утренниках" речи П.А.Сорокина на университетском акте, речи, которая после ее произнесения 21 февраля 1922 г. вызвала неистовые доносы профессора Гредескула в советских газетах, и еще больше не понравилась статья А.С.Изгоева "Суд над террором". Большую злобу — особенно в провинциальной коммунистической печати — вызвала и моя маленькая рецензия на книгу проф. Опеля "Успехи хирургии", где я рекомендовал эту книгу сторонникам политических операций, не использующим ни наркоза, ни других гуманных приемов хирургии... и указывал самую бесплодность операций над сложными социальными организмами. Но в общем особого внимания все же сперва книга не вызвала. "Утренники" — название такое детское. Мы долгое время в них и не заглядывали," — как бы оправдывался Зиновьев в одной из своих речей.

Однако материал, представленный для второй книги, подвергнут был уже более тщательной цензуре. Статья П.Сорокина "Верую, Господи, помоги моему неверию" была целиком зачеркнута отделом печати. Статья проникнута необычайным пессимизмом по отношению к будущему России и написана очень сильно. Я предложил Быстрянскому поместить контрстатью в оптимистическом тоне. Ходил к Быстрянскому объясняться и автор статьи. Вопрос пересмотрели, но остались при прежнем решении. Забраковала цензура и два сатирических очерка М.Я.Козырева. Особенно интересно было описание им чудесного происшествия в каком-то уездном городке "Большевии", местами напоминающее по силе и яркости "Историю города Глупова". После моих настойчивых требований разрешить помещение этих очерков, подкрепленных ссылкой на положительный отзыв о литературном даровании автора на страницах "Московской правды", мне удалось все же отвоевать второй очерк "Прыгунки". В стихотворении М.М.Шкапской были зачеркнуты красны-

ми чернилами последние семь слов стиха, гласившего: "И взгляд потерянный, невидящий и белый тех, кто идет поутру на расстрелы". Эти слова заменили много-точием. В письмах Короленко, собранных С.Д. Протопоповым, были выброшены строки, осуждающие уничтожение большевиками свободы печати. Моя краткая рецензия о выпущенном "Задругою" сборнике памяти Короленко, сводившаяся к цитате из предисловия сборнику, кажется, В.А.Мякотина, — была вычеркнута целиком. В автобиографии А.С.Яковлева было выброшено место, где он говорит о своем эсеровском прошлом, когда они мечтали "дать революцией курицу в супе каждому крестьянину, а заставили его кушать собственных детей". В письме в редакцию А.С.Изгоева, где он отмечает, что в №2 "Красной нови" за 1922 год Воронский "докладывает" начальству совершенно превратно мысли Изгоева в его статье "Личность и общество", помещенной в "Вестнике литературы", слово "докладывает" было заменено цензором словом "сообщает", а "Красная", совершенно непонятно почему, опущена. В статье "Эстетическое дышло" проф. Ф.Ф.Зелинского, присланной мне перед его отъездом в Польшу, подданство которой он оптировал, было действительно опасное место. Цитируя одного древнего римского поэта, он приводит двустишие, гласящее приблизительно так: "Следую тем, кто так поспешно покидает вашу республику: ею управляют ныне глупые юноши"... Цензор оказался классиком и двустишие вымарал.

Любопытный эпизод произошел с другой статьей проф. Зелинского "Красная наука". Статья была помещена на двух гранках. Первая гранка прислана из цензуры с разрешительной надписью без помарок, вторая оказалась целиком зачеркнутой. Я поместил тогда в "Утренниках" начало статьи, подписав под ней "Продолжение следует" и заявил цензуре, что снесусь с автором, прося его иначе изложить свои мысли, считаясь с современными условиями русской печати, чего, конечно, я не сделал. Мысли за-

прещенные, даже при их неизвестности, сильнее воздействуют на общественное мнение мыслей разрешенных!..

Однако когда вторая книга "Утренников" вышла, в типографию явились представители инспекции по типографиям для расследования, почему начало статьи Зелинского "Красная наука" помещено было без тех купюр, которые цензура признала необходимыми. Оказалось, что цензор, получая по два экземпляра гранок, проглядывает первый экземпляр, остающийся затем при делах цензуры, а на другой экземпляр пометки цензора переносит обычно канцелярия отдела печати, которая на этот раз забыла перенести их во второй экземпляр, посылаемый в типографию, почему мы и получили начало статьи без изменений. Невинность редакции и типографии были в данном случае совершенно очевидны — однако был составлен протокол, а у ответственного представителя типографии отобрана была подписка о невыезде из Петербурга. Какие купюры хотела сделать цензура в начале статьи "Красная наука", я не знаю, но вторая ее половина была перечеркнута цензором целиком<sup>\*)</sup>.

На этом я прерву изложение истории цензурных преследований "Утренников" и перейду к истории журнала "Экономист", так как впоследствии пути их совпали. Но для этого нужно начать несколько издаека.

В январе 1921 г. я был выбран товарищем председателя промышленно-экономического отдела Русского Технического Общества, председателем же Е.Л.Зубашев, бывший директор Томского Технологического Института, высланный в свое время из Томска министром вн. дел В.К. Плеве, а впоследствии избранный в члены Государств. Совета от торгово-промышленной группы. Е.Л.Зубашев лишен был возможности уделять много времени председательствуемому им отделу Общества и все ведение дела до-

---

<sup>\*)</sup>Первая половина заканчивалась вопросом: должна ли в красном государстве проходиться исключительно красная наука? Защитникам положительного ответа автор предлагал дополни-



верил мне. Я прежде всего организовал ряд заседаний, посвященных вопросам послевоенной экономики. Заседания шли очень оживленно. Доклады делались обстоятельные, возбуждали к себе большой интерес — тем более, что обстановка заседаний допускала полную свободу суждений. Лиц, сколько-нибудь подозрительных, на заседаниях заметно не было. Как-то в середине лета 1921 г. на заседание заглянул очень энергичный молодой издатель А.С.Каган,

---

тельные вопросы:

"Как вы думаете осуществить эту исключительность прохождения красной науки? И что для вас дороже: чтобы молодежь слушала исключительно красную науку или чтобы она проникалась исключительно красными убеждениями?"

Вторая половина статьи проф. Зелинского гласила:

### VIII

"Как осуществить? Нет ничего проще. Неисправимых мы устраним от дела преподавания: подозрительных будем держать под бдительным, хотя и негласным, надзором с помощью образованных нами ячеек; а взамен устранившихся введем новых преподавателей, которые будут читать в желательном для нас духе.

Старые меры, много раз практиковавшиеся и в нашем Петербургском университете от Рунича до Кассо! Можете ли вы серьезно утверждать, что они что-либо принесли, кроме незавидной славы своим исполнителям?

Правда, первую меру можно осуществить без особого труда; к чему она поведет, это мы увидим в дальнейшем, но ее практической осуществимости отрицать не приходится.

Труднее обстоит дело со второй. Я и здесь не ставлю вопроса, насколько одобрительна сама по себе эта вносимая в университетские стены система цензуры, шпионства и доносов — о нравственности я вообще во всей этой статье не говорю, как вообще можно контролировать профессорские лекции? Конечно, профессор, зная, что за ним следят, будет воздерживаться от слишком ярких суждений; но разве они нужны? Во-первых, у нас имеется выработанный столетней практикой совершенно неуловимый и неуязвимый эзоповский язык; во-вторых, я даже без всякого суждения, одним подбором и группировкой фактов могу

до того у нас не бывавший. После заседания мы вышли вместе, и А.С. предложил мне организовать издание вестника отдела. Я считал маловероятным разрешение специального экономического журнала, но заявил полное согласие от имени отдела на возбуждение надлежащего ходатайства. Совет Об-ва по докладу отдела утвердил редакционную коллегию журнала, в составе 12 лиц из среды экономистов-практиков и теоретиков, и одобрил предложенное

---

произвести желательное для меня впечатление; в-третьих, даже если бы вы могли контролировать то, что я говорю, — того, о чем я молчу, вы контролировать не можете. А это подчас бывает важнее.

Что же касается третьей меры, то о ней даже трудно говорить без улыбки. Введем подходящих людей! Легко сказать: откуда вы их возьмете? Ведь в том-то и горе, что в серьезной науке таковых нет. Вот вы и вводите, кого считаете возможным; но уже та первенствующая роль, которую среди них играет много раз названный изобретатель, доказывает, что блеснуть вам нечем. Да вы и сами знаете им цену; а учащаяся молодежь, думаете, их не раскусила?

## IX

Нет, приговор истории неумолим: контроль и насильственное направление научного преподавания неосуществимы. Что толку в том, что вы перед лицом всей Европы "откровенно и честно" отменили свободу науки? Конфуз вышел изрядный, а толку нет и не будет. Свобода — неотъемлемое достояние науки; это доказала история уже не последнего столетия только, а всего тысячелетия слишком новой истории. Античность на свободу науки не посягала — она была для этого слишком умна. А смехотворные, хотя порой и жестокие попытки новых времен уподобили ее колобку нашей народной сказки. Подобно ему, и она может сказать: "Я от схоластики ушла, я от инквизиции ушла, я от пуританизма ушла, я от абсолютизма ушла, я от Руничя ушла, я от Кассо ушла — и от вас, товарищ имярек, и по-давно уйду"...

Виноват, сравнение как будто хромает: дело в том, что колобок под конец был все-таки съеден лисицей. — Но нет, все в по-

мною наименование: "Экономист".

Пока получено было разрешение на журнал, пока собирался материал, пока он печатался — прошло несколько месяцев, — и первая книга "Экономиста" вышла в декабре 1921 г. Потом дело пошло живее. Вторая книга вышла уже в феврале 22 года. Ни первая, ни вторая книга цензурным преследованиям не подвергались. Даже в части советской печати — некоторых специальных журналах —

---

рядке: ибо лисица, товарищи имяреки, — не вы. Для этого вы слишком и откровенны, и честны.

## Х

Довольно, однако, об этом; переходим ко второму вопросу. Что важнее для вас: чтобы молодежь слушала одно красное (прошу прощение за путаницу чувственных восприятий) или чтобы она становилась красной? Вы скажете, конечно, что тут никакой разделительности нет, что первое — естественное условие второго: именно тогда она и станет красной, когда будет слушать одно только красное. И в том, что вы этому серьезно поверили, и заключается ваша колоссальная наивность, ваше полнейшее непонимание психологии.

Ведь если даже допустить, что с кафедры раздается слово не такого дворянина на безлюдии, как много раз нами означенный Фома, а убежденное красное слово неопороченного человека; если допустить далее, что поглощенное умственно содержание так же механически окрашивает душу юноши, как выпитая комаром кровь его тело — долго ли такая окраска останется нелиняющей? В университете вы всячески берегли его от науки нежелательных оттенков, а в жизни он встретится с ними на каждом шагу, т.е. в такое время, когда ему нельзя будет говорить своему учителю свои сомнения. Нет, зачем же, скажете вы: эти учителя должны тоже излагать на своих лекциях мнения противников — конечно, для того, чтобы их опровергать — позвольте полюбопытствовать: излагать хорошо или плохо? Если хорошо, то зачем же вам было устранять этих противников? Если же — плохо, то что вы выиграете? Ваш юноша будет беспомощен в споре с каждым, кто изложит их лучше, будь то человек или книга.

Древние философы — профессора афинских школ — нарочно

к "Экономисту" отнеслись почти приветливо. Зато и петерб. и моск. газеты открыли против него ожесточенную кампанию.

Должен сознаться, что гонения против журнала, а пожалуй, и самую высылку и его сотрудников, а с ними заодно и многих других интеллигентов, спровоцировал — конечно, *bona fide* — автор настоящей статьи, в чем и считаю нужным чистосердечно покаяться!..

---

посылали своих учеников слушать лекции философов иных направлений — именно для того, чтобы их для себя сохранить. Это были умные люди.

Но это не все и даже не главное.

## XI

Главное то, что сама теория, о которой здесь идет речь, основана на психологической ошибке. Человек проникается теми убеждениями, которые ему внушают, — в самом деле? Иногда да, но иногда и нет; вы же создаете все условия для того, чтобы результат получился отрицательный.

Позволю себе тут процитировать самого себя. Лет 17 тому назад, когда упраздненный ныне строй был еще очень сильным и те же меры, как и ныне, применялись в интересах не красной, а черной науки, я в следующих словах протестовал против них ("Из жизни идей", т. II, стр. 240, 2-го издания — цитирую его, так как я этого экскурса уже не переиздавал):

"Ученики, особенно старших классов (а студенты, прибавлю теперь, тем более) очень ревниво относятся ко всяким воздействиям на их чувства; всегда они, сознательно или инстинктивно, ставят преподавателю вопрос: "Да сам-то ты по убеждению говоришь?". Почему всякие оппозиционные учения, даже самые несостоятельные, так сочувственно воспринимаются учениками? Потому, что они знают: говоря нам это, учитель рискует своей карьерой — значит, он убежден. Внутренние критерии правды доступны лишь немногим; большинство заменяет их внешними: "Правда — это то, за что человек готов пострадать".

Это было напечатано, повторяю, в 1905 году; полагаю, что случившееся двенадцатью годами спустя вполне подтвердило

Рассылая "Экономиста" для отзыва разным лицам, я счел нужным послать один экземпляр первого и второго номера В.И.Ленину. Для верности эта посылка осуществлена была через управляющего делами Совета Нар. Ком. Н.П.Горбунова, один из родственников которого был моим сослуживцем. Хотя на книгах было помечено "от редакции", сам Ленин эпизод с получением их изложил неполно. В № 3 журнала "Под знаменем марксизма" за 22

---

правильность моего предостережения. Теперь победоносная партия применяет те же меры для укрепления своей собственной позиции в головах и сердцах молодежи; и разве мы не видим, как она чем далее, тем более теряет почву и в тех, и в других? Бывшее большинство стало меньшинством, а кто присмотрелся к составу этого меньшинства и к его умственному и нравственному уровню, тот и подавно будет склонен поставить на нем крест.

## XII

Переубедит ли это рассуждение моих противников? Мы вообще народ малопереубеждаемый и не сдаемся даже перед очевидностью; вывернуться каким-нибудь риторическим фокусом всегда можно. А тут, пожалуй, даже этого не нужно.

Я не хотел преждевременно смущать себя и своих читателей, но теперь признаюсь: во время всего этого спора я видел на лице моих противников улыбку — не то насмешливую, не то презрительную.

— Мы вовсе не так наивны, как вы воображаете. Мы прекрасно знаем, что то студенчество, о котором вы говорите, — студенчество интеллигентное, сознательное, одним словом — настоящее — не за нас. Мы, поэтому, сами на нем поставили крест... или, вернее, поставили бы, если бы таковой имелся в нашем распоряжении. Но зато в нашем распоряжении иная молодежь, с иной психологией, не столько образованная, сколько натасканная необходимыми специальными знаниями и, прежде всего, пропитанная ненавистью. Для нее-то, в сущности, товарищ имярек и изобрел красную науку. Вы совершенно напрасно изволили волноваться: из всех ваших стрел ни одна не попала в цель.

Да, если так, то это — опять новая постановка вопроса. Ну что ж, хорошо, что хоть до этого договорились".

год Ленин разразился статьей против "Экономиста", в которой отметил, что один молодой коммунист с восторженным отзывом принес ему "Экономист": коммунист этот-де или плохо читал его, или не понял. Журнал, по мнению Ленина, преследует сознательно или бессознательно крепостнические тенденции, и Ленин советует господам, подобным сотрудникам "Экономиста", предложить проехаться в Зап. Европу, чтобы на своей шкуре они оценили прелести той "демократии", о которой мечтают для России. (Ленин уже тогда не мог различить "крепостничества" от "демократизма"...). Статья написана была Лениным на одре болезни — вероятно, в один из светлых промежутков — и являлась как бы его политическим завещанием — блюсти за "крепостниками из интеллигенции". ГПУ статью приняло к сведению, и началась подготовка списков тех, кого надлежало ознакомить с "прелестями демократии на Западе", благо прецеденты с высылкой за границу уже были: высланы были туда меньшевики, выслана была и Е.Д.Кускова с мужем С.Н.Прокоповичем. В то же время до нас начали доходить слухи, что "Экономист" будет запрещен. Однако третью книгу удалось выпустить в начале мая. Ряд статей оказался крайне пострадавшим от цензурной правки. Но после статьи Ленина и всевозможных зловещих слухов приходилось радоваться и тому, что журнал еще можно было выпускать, и на всякий случай я пустил следующую книгу двойной по объему, пометив на обложке: № 4—5. Увы! Объем книги вышел гораздо меньше предположенного. На этот раз цензура рвала и метала. Три статьи были совершенно запрещены. Запрещена была статья Б.Д.Бруцкуса "Об исторических корнях русской революции", подготовленная им за несколько месяцев до того для другого журнала, не осуществившегося по воле начальства; статья А.С.Изгоева, являвшаяся первым опытом ввести в "Экономист" внутреннее обозрение, а также перевод заметки одного немецкого экономиста, кажется, Лентца о русском золотом фонде. Почему запрещена была статья Б.Д.Бруц-

куса, мне и до сих пор непонятно, хотя Зиновьев с большим озлоблением огласил на съезде РКП большую цитату из этой статьи, очевидно, бывшей у него в гранках. Потом, вероятно, спохватившись, что цитировать статьи, не увидевшие света, не очень удобно, он выбросил это место речи из отдельного издания последней. Статья А.С.Изгоева, возможно, была запрещена потому, что автор ее, между прочим, подробно останавливается на деятельности редактора петерб. "Правды" Сафарова в Туркестане, где он неудачно ведал экон. политикой края, борясь с крупными формами хозяйства и восстанавливая хозяйство натуральное, почему и был затем отозван. Сафаров в Петербурге сделался очень причастен к деятельности Чека, даже в своих статьях он нередко подготовлял публику к особо важным и волнующим актам сего учреждения, а вскоре затем и заступил Быстрианского в качестве заведующего отделом печати ГПУ...

Других объяснений запрещения статьи А.С.Изгоева не придумать. Разве могло иметь еще значение то обстоятельство, что она целиком была основана на сведениях советской печати, а большевики особенно раздражаются, когда их бьют их же оружием!

Заметка Лентца запрещена была мотивированно: автор, по мнению цензора, стремился доказать, что золотой фонд Советской Республики будет скоро исчерпан. Следует оговорить, что в действительности Лентц утверждал — на основании ряда цифр, — что у Правительства Кремля больше золота, чем оно официально показывает... Да, не пропущена была еще цензурой моя рецензия на книгу Г.Г.Швиттау. Почти все остальные статьи более или менее от цензуры также пострадали. Из статьи "Россия и международный рынок" была выброшена даже большая цитата из стихотворения Демьяна Бедного, помещенная в "Известиях ВЦИКа". В статье "Наши финансы в 1918-1920 гг." вычеркнули, между прочим, ссылку на циркуляр Наркомфина, запрещавший применять телесное наказание при взыскании налогов, что, по словам циркуляра, имело мес-

то в некоторых губерниях РСФСР. В статье "Голод и идеология общества" П.А.Сорокина все соображения последнего о причинах и мотивах участия интеллигенции неголодающей в коммунистических движениях, которые он характеризует как продукт голода, выправили весьма внимательно. В статье "Значение Мурманской ж.д. в хозяйственной жизни России" цензура взяла даже под защиту царское правительство, по мнению автора, в своей экономической политике игнорировавшее потребности населения. Соответствующий абзац цензура выбросила. Очевидно, только потому, что "на воре шапка горит"...

Но так или иначе, в конце июня вышла и эта 4—5 книга "Экономиста".

Вскоре после того в спб. "Правде" появилось письмо в редакцию Льва Марковича Василевского, в котором он сообщал, что выходит по политическим мотивам из состава сотрудников "Экономиста". В действительности г.Василевский не был приглашен в сотрудники "Экономиста", а явившись ко мне в качестве зятя покойного А.Е.Кауфмана, просил поместить его статью о голоде в "Утренниках". Ввиду того, что статья для последних не подходила, а была небезынтересна, я поместил ее, с согласия автора, в "Экономисте", устранив в ней бестактные выходы против деятельности в провинции представителей АРА. Вот в чем выразилось сотрудничество г.Василевского в "Экономисте" — и письмо его в редакцию на меня произвело тогда впечатление доноса.

Между тем, по Петербургу ходили какие-то молодые, совсем неграмотные чекисты, собиравшие сведения о том, где какой литератор живет. Узнав, заходили в соответствующий управдом и расспрашивали, кто из жильцов дома еще литературой занимается...

13 июля я получил от петербургского отдела печати ГПУ извещение о том, что по распоряжению Москвы дальнейший выход журнала "Экономист" запрещен, а через неделю я был уволен от службы в бумажной промышленности, где работал с 1918 года.



Я зашел в ГПУ, чтобы разузнать причины запрещения, но их мне не сообщили. Только заявили, что такое же распоряжение одновременно получено и по отношению к "Утренникам", но так как последние выходили не как периодическое издание, то они не сочли нужным меня об этом предварительно известить.

16 августа утром я подал Быстрянскому два прошения: одно о разрешении мне издавать сборник "Экономический магазин", причем я указывал, что название мною заимствовано у масона Новикова, издававшего под этим названием особые приложения к "Московским Ведомостям" в 1779—84 гг. (привожу годы на память). Другое — о разрешении издавать альманах "Млечный путь". Этим названием я хотел намекнуть на то, что альманах будет отражать настроение не "штаба контрреволюционной буржуазии", которым Зиновьев объявил на съезде РКП редакцию "Экономиста", а бесчисленного множества людей, волею истории оказывавшихся подданными правительства РКП и Коминтерна.

Я захватил с собой к Быстрянскому на всякий случай и рукописи для обоих сборников, но он их не взял: "Подождите несколько дней — мы рассмотрим сначала вопрос принципиально".

Я любопытствовал, какой должен быть подбор рукописей, чтобы застраховать сборники от участи "Экономиста" и "Утренников". "Вот нехорошо, что у вас не пишут коммунисты. А потом не нужно касаться политики," — заявил он. — "Очень трудно установить, что, с вашей точки зрения, является политикой, и кастрировать себя, вытравливать в себе какую-то "политику" писателю не всегда легко. Уж пусть этим занимается цензура... Цензуруйте, как хотите, на то — вы диктаторы, но дайте возможность продолжать литератору заниматься своим делом. Ему ведь теперь труднее писать, чем при Николае I", — откровенно высказал я заведующему отделом печати.

В ту же ночь и я, и еще 161 человек были в разных местах России арестованы по одному списку, утвержденному

ВЦИК<sup>\*)</sup>. Всем нам было предъявлено обвинение по ст. 57 советского угол. кодекса, а затем предложено подать прошения о разрешении на выезд за границу. До оформления отъезда петербуржцев около 3 месяцев держали в тюрьме. Допрашивали меня только раз — и допрос свелся лишь к "интервью", как я отношусь к структуре Сов. государства и к системе пролетарской власти, к эсерам, савинковцам и сменовеховцам и т.д. Интервью сделано было следователем по "шпаргалке", состоявшей из 6 стереотипных вопросов. Ничего конкретного следствие узнать не желало.

Уже после освобождения ко мне на дом являлся молодой чекист, допытывавшийся, кто такой Гадаев, будто бывший моим сотрудником. Увы! Я не мог удовлетворить его любопытства, ибо такая фамилия мне совершенно не известна. Вот и все "следствие".

Пока я находился в тюрьме, как-то ко мне на квартиру зашел какой-то служащий отдела печати и сообщил моим родственникам, что одно из моих прошений о разрешении мне издавать сборник (не знаю, какой) удовлетворено и что нужно представить на цензуру рукописи.

Я этого не сделал. Я был рад, что знакомство с советской цензурой кончилось еще благополучно.

Сидя в ГПУ на Гороховой, я схватил жестокий ревматизм, сделавший мою высылку невыполнимой до начала февраля 23 г. Я еще и тогда не оправился от болезни, но спешил уехать. А вдруг-де передумают — и применят иную меру наказания.

О том, за что конкретно меня высылают, мне, правда, не объяснили, но было очевидно, что высылают за литературную "антисоветскую" деятельность. Оценивали ли ее иначе те цензора, которые разрешали инкриминируемые мне издания, я не знаю... Может быть, им предложено

---

<sup>\*)</sup>Покойный Д.С.Зернов, участвовавший в коллегии "Экономиста", рассказывал мне, что он был включен в этот список, но из него по требованию Главпрофобра (отдел комиссариата нар. пр., заведующий профессиональным образованием) исключен.

было до поры до времени дать людям выговориться... Может быть, этого и не было. Когда-нибудь историк осветит этот интересный эпизод в истории русской печати при диктатуре пролетариата. Вероятно, объяснит он также, почему ГПУ, разрешающее добровольно выезд за границу только "благонадежным" лицам, часть "неблагонадежных" туда высылает, ссылая других в Обдорск и прочие внутренние места отдаленные.

Но последний вопрос уже выходит за рамки темы настоящей статьи.



**Е. Постникова**

# **21-ый год**

**"Архив русской революции", т. XIII, 1924.**



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Светает. Смрад. Четыре часа ночи.

Москва, не успевшая отдохнуть за ночь, продолжает тащить на себе грязные мешки прошлогодней картошки, картофельного хлеба и всяких продуктов, которыми так богато и так несправедливо кичится Москва перед всеми городами оголодавшей Великороссии.

Встаю и я, с больной головой, и начинается наше бегство из России, с четырех часов ночи, из смрадной Москвы, потому что смрад московский не в переносном, а в буквальном смысле этого слова, нас, россиян, всегда будет переносить в период большевизии, даже при чтении очерков истории Русской Революции 18-го года и далее...

Иду в "Метрополь". То есть вцепляюсь в какой-то мчащийся трамвай-грузовик с левой стороны на ступеньку лестнички, чтобы вагоновожатый не заметил, и подъезжаю к Охотному ряду.

Охотный ряд теперь не Охотный ряд, а какая-то площадь. Площадь большая, красивая. И я не жалею, что она красивая, большая и не торгует, потому что все улицы в Москве торгуют, а площади стоят свободные и будто чего-то ждут...

У "Метрополя" спят вповалку люди и людишки, это мальчики — "Ира", "Ира" рассыпная". Спать вповалку — это значит занять очередь с вечера, это значит со всеми переругаться, это значит зорко глядеть, чтобы кто-либо

вне очереди не проскользнул, это значит, что тот, кто не спал вповалку, а ходил взад и вперед, тот не должен достать билета. Это значит со всеми шопотком поругать советскую власть, это значит в душе проклясть ее, в тысячу первый раз — эту самую советскую власть.

Жизнь стала просыпаться. В шесть утра это — жужжащий митинг. А цель одна — как бы кого-нибудь надуть и вне очереди проскользнуть.

Девять часов — касса открыта.

Стою в командировочной очереди и конца-краю не видеть. "Все — Рыкапа прет", как говорят в Москве, с красными билетами вне очереди.

А билетов все меньше да меньше. Уже 12 часов дня, поезд в два часа дня отходит, до вокзала целый час ходьбы. Накануне билетов брать нельзя. Осматриваю ряд кожаных рыкапистов, выбираю самого безобразного комиссара, к которому страшно подойти, подхожу и говорю: "Я очень устала, может, вы поможете мне получить билет?". Знаю, что Богом обиженный человек сердцем бывает богатый. Комиссар соглашается. Один для себя, а другой для моего мужа, который не имел права ехать этим важным поездом, а другим, всем известным, обовшивевшим Максимом — двенадцатичасовым.

В рыкапистском хвосте промелькнула седая дама в чесунчевом пальто, да гагсон, босой, с золотыми кудрями, возраста лет девятнадцати. Кудри его не видели гребня с 20-го года, а воды и мыла с 18-го года. Дама мне показалась матерью военного спеца, а гагсон — внебрачный ребенок большевистского лидера...

Встретив моего остриженного и обритого мужа на одной из конспиративных квартир и получив в июле месяце по аннулированной карточке из какого-то продкома 15 фунтов хлеба за февраль месяц, мы отправились пешком на вокзал.

В то время уже устанавливалась очередь при посадке на питерский скорый поезд: и мы вдвоем, будто незнакомые, у нас разные трудовые книжки, имели счастье по-



меститься в купе третьего класса, в числе шести человек.

Все вагоны не трети ходили в донэпской России под особым назначением. Два человека, в том числе и мой муж, стремительно залегли на верхних багажных полочках. Я рванулась на верхнюю лавочку. Внизу дама в чесунчевом пальто и железнодорожница с ребятами. Vis à vis гагсон, который усиленно расшнуровывал новые советские ботинки, одетые на бесчулочные, грязные ноги. (В интервале между дежурствами за билетом ему на "Лубянке" выдали эту пару, так как он ехал с ответственным поручением...). Занимаясь самой тщательной операцией по очистке своих ног от грязи ручными инструментами, т.е. пальцами, гагсон делал набег на обитателей своей головы, производя там колоссальные опустошения. Вдруг этот самый гагсон, откусив половину яблока, протянул мне вторую, ткнув меня этим самым пальцем в бок.

С испуганным лицом я сказала: "Я, я не ем яблок, я никогда не ела их". А яблока мне очень хотелось с черным хлебом.

Тогда ему со мной стало скучно; он влез на поперечную полку против нашего купе, в проходе — будто и на народе, все повеселее. Пустующее место занял какой-то коммунист, массовый партийный работник. Он же мне шопотом сообщил про гагсона: "Сволочь, на Лубянке ботинки получил, значит — заслужил".

Рабочий мне страшно понравился. Понравился потому, что у него был и Некрасов, и Маяковский, и "Лошадь как лошадь" Шершневича, и потому, что он выбрал из Некрасова место "Жены декабристов" и, подавая мне, сказал: "Это вам не мешает знать".

Он был в галифе, френче, и вид у него был вполне современный. Вечный посетитель "Стойла пегасов", кафе имажинистов, влюбленный в Луначарского, но искренне смеющийся над его смешанной школой, любимец Крупской, которая называет его "сыночек" — он ехал с партийными поручениями на запад России.

Рассказал он мне, что и в другом "Стойле пегасов" —

"Съезде Коминтерна" не все благополучно и потому их периферию плохо информируют. Рабочий, выбравшийся со дна, способный, преданный революции, но доведенный до абсурда, он не знает, с какими глазами защищать новую экономическую политику, это нэп; и как стыдно смотреть в глаза кооператорам после всего сделанного с кооперацией. Рассказал он мне, что он в оппозиции, но благодаря хорошим личным отношениям с семейством Лениных он не в опале. Много мелких эпизодов из партийной жизни, а также о нарастающем недовольстве среди демократически настроенных элементов партии, которое выливается или в уходе из партии, или Кронштадтском восстании, рассказал он мне.

Он уже не пылал восторгом революции первых лет после октябрьского переворота, он только верно служил в партии РКП.

А о ЧК он говорил с каким-то отвращением... О других социалистических партиях будто нарочно отмалчивался, Керенского не упомянул ни разу.

Рассказал он также мне и то, что семейство Лениных очень жалеет, что у них нет детей, что в этом виновата их эмигрантская жизнь, и они на старости лет тоскуют о детях...

И хотелось ему еще многое рассказать мне.

Но я вся съезжилась, когда узнала, что и "эти" тоскуют о детях. Да ведь волки тоже тоскуют, когда рысь уносит детеныша.

\* \* \*

Но дама в чесунчевом платье, о ней сейчас.

Еще раньше, когда я вошла в вагон, навстречу бросилась она ко мне со словами: "А, милая, как я рада, что вы здесь. Я одна, все мужчины; я так несчастна, у меня в Питере была огромная семья, теперь я возвращаюсь в пустой совсем дом, всех сыновей убили "они" — эти жестокие

кожаные люди".

Жаль мне эту одинокую старую мать, хочется мне сказать, что и у других матерей убили детей, но что-то держит меня, и только ласково беру ее за руки, а она плачет. Милая, симпатичная на вид и пахнет старым одеколоном. Да, но зачем она так торопится ругать большевиков, мы почти еще не отъехали?

Лежу наверху. Контроль. Все мои симпатии на стороне старой дамы.

Военный контроль: "Ваши мандаты". Милая дама вынимает, пряча от соседки, партийный билет с фотографией. Нарочно бросаю книжку ей на колени сверху, и билет падает на пол. Купе молчит. Железнодорожница неистово бьет своих детей.

Так вот эта самая дама несколько раз ночью, когда все спали, вклинивалась в наш разговор и наконец не выдержала и сказала моему собеседнику: "Я тоже партийная". — "Знаю, какая партийная, таких много теперь в партии". — "Нет, я настоящая, я давно". "А, настоящая? А зачем провокаторством занимаешься?" — ответил ей рабочий на "ты".

\* \* \*

Но вот и Петроград.

На вокзале, как грязные собачонки, снуют голодные ребятишки: волна голода занесла их в сырой Петроград.

"Все для голодного Петрограда" — еще висят плакаты на стенах.

"Все для голодного Поволжья" — висит свежий плакат рядом на стене.

Маленькие рваные фигурки снуют взад и вперед и молча, как-то резко, как умирающий больной, отталкивают ручку, прося милостыню, и снова прижимают ее. Рот крепко сжат. Это не слезливые нищие. Нет. Это дети русского крестьянина, которых разверстка вывернула из род-

ного гнезда и бросила на грязную мостовую бывшего красного Петрограда.

Петербург, Петербург...

Злые языки говорят, что ты скоро провалишься, что уже начали валиться дома, что вот уже один провалился на Гончарной у Николаевского вокзала, что почва заболачивается и вся набережная Невы понизилась на столько-то сантиметров; что люди, съевшие лошадей, становятся лошадьми и ровной шеренгой выстраиваются у Николаевского вокзала; и все они за номером, и что фаэтоны у них игрушечные, только на двух колесиках, и бегут они рысцей, рысцей за 2 ф. хлеба, а то и меньше, в любой конец белого Петрограда.

А в белом Петрограде ночи белые, люди бедные и тени их бледные.

Вот она, Пиковая дама, вся в белом, ночью выходит из своего особняка на Литейном, а днем у нее в доме весь день толкутся бедные люди за продовольственными карточками.

Вот дом, где жили Мережковские, Гиппиусы и Философов: их было когда-то много. И дом их был какой-то экзотический сверху и не такой, как другие, внутри.

Говорят злые языки, что уехало их много на Запад, на Конне бледном, а осталось три одиночки где-то в Варшаве. Только бледные тени их там ходят, да чертова кукла валяется на полу в опустошенной квартире.

Злые языки говорят, что на Литейном почва трясется...

А в бывшем офицерском экономическом обществе трясется под домом почва. На танцульках, когда играет оркестр: "Надя любит шоколад", ему вторят мальчишки:

"Цыпленок дутый,  
В лаптях обутий,  
Пошел на белых  
Воевать..."

Говорят еще, что у Исаакия по ночам служат обедню какие-то белые священники... и что цари ушли из Петропавловской крепости.

Тихо в Петрограде теперь. — Небо бездымное, голубое. Воды много, много. — Нева будто шире стала, каналы все вспухли. — А по Неве дикие утки плавают, это сестры, что Керенского защищали, так они ютятся у Зимнего дворца. — И еще какие-то дикие птицы у Летнего сада живут. Это души умерших — тех, что на Полигоне недавно рыли себе могилу.

Вот так это все и идет в Петрограде. А когда пойдешь по этим бархатным зеленым коврам петроградских улиц, то увидишь пасущуюся лошадку — одну на весь Петроград, и лошадка не прежняя, а маленькая, лохматенькая.

Летний сад страшно зарос, прямо лес.

Ну, вот тебе и новое Марсово поле. И хоть говорят, нечего было огород городить, а все-таки это новое Марсово поле в тысячу раз лучше прежнего. Бурьян растет сочный, зеленый, большой, а то, что мусору да падали много за эти годы навезли, так это удобрение.

Злые языки говорят, что могилы жертв первой революции там не в почете — это неправда: там и цветы, там и покой, там и уважение. Каре из гранита, взятого из ограды Зимнего дворца, окружает эти могилы. И вовсе площадь их не коммунистическая звезда, а как при Керенском было сделано, так и осталось. Это, кажется, все, что уцелело от нашей первой революции.

И скажите тому, кто Марсово поле ругает, что это лучше, чем когда зимой солдаты по колени в грязи лежали в несуществующих окопах.

А когда пойдешь ночью через Поцелуев мост, через глубокую, высокую теперь Фонтанку, да вдоль по Лебяжьей канавке золотой, тоже глубокой теперь, на Марсово поле, то залюбуешься. А когда ты выйдешь на набережную Невы — ни одной баржи, одна ширь да воздух, и помотришь на Петропавловскую крепость, то там ты уви-

дишь наш старый шпиг. И вспомнишь ты нашу русскую историю от Петра Великого, и стрелецкий бунт, и казни, и болото Невы... Вот почему земля теперь заболачивается и трясется, и казни теперь на Полигоне.

Или пойдешь к Зимнему дворцу, старому, казенному, и войдешь в сад — он уже без ограды, и можно в него войти со всех сторон — там ты, в этом старом, очень старом саду встретишь Елизавету Петровну.

Она там гуляет одна.

Это потому, что она дочь последнего русского царя Романова, а остальные — свойственники да родственники, им-то и неудобно в царском саду гулять.

И неправду говорят злые языки, что Петроград — красный.

Нет, он никогда не был им.

Он весь, как у Достоевского, он весь, как у Андрея Белого.

Так же, как Достоевского и Андрея Белого нельзя представить во френче и галифе, так и Петрограда нельзя представить красным.

Красная, русская Москва будто солнышко, а Петроград нет... он белый своими ночами...

А когда приходишь в эти опустевшие дома, где первые этажи, будто в Венеции, затоплены водой, и реки подпочвенные ведут свои линии в канал, из канала обратно в дом, то будто в сказке волшебной стоит этот дом. А в этом доме живут милые люди с побледневшими лицами — кости да кожа — да ужасным запахом цинготного рта.

Да, когда эти милые, добрые люди одной рукой обнимают тебя, а другой прячут под скатерть корки хлеба, то ты понимаешь, почему в Петрограде все поседели. Или когда твой друг-профессор, на десять лет моложе тебя, совершенно седой, без единого зуба во рту от цинги, мочит в тарелке черные корки черного хлеба, которые он приберег на черный день, то ты уже не видишь его, а видишь и слышишь крик этих уходящих женщин на смерть, когда их волокут по улицам:

Будьте вы прокляты, черные черти,  
Ждите вы черного дня своего.

\* \* \*

А вы знаете, что это значит — торговать на улице своими вещами, умеете ли это делать и сумели ли?

Можно торговать для спекуляции, можно для себя, чтобы контрабандисту уплатить за переправу, а можно торговать для того, чтобы фунт хлеба купить и чтобы своих дома покормить.

И вот, ты стоишь на этом рынке. Вот тебя щиплют со всех сторон, вот тебя гонят, вот тебя ведут, вот тебя арестуют:

"А, офицерское продаешь?" — "А, белье казенное продаешь?" — "А, мануфактуру?" — "А, хлеб карточный, советский, на молоко меняешь? Заелась хлебом, мало "дают". Молока захотела, стерва!"

"Сам сволочь, хлеб-то мой, а дите умирает, в грудях все повысохло. Высохли бы вы все, сволочи вы этикие".

Петроград только сволочью да чертом ругается.

А Москва, а Россия?

Об этом нам рассказывают имажинисты, в них так сочно отразился народный имажинизм.

Так вот рынок торгует. Это вовсе не веселый торг: "Налетай, брат, налетай" — "А вот "Ира", "Ира" рассыпная...". Нет, здесь плотной стеной стоят голодные люди: кто кольцо продает, кто крест, кто рубашку, а кто и женскую честь. Дешево она тогда стоила, фунт хлеба, да и то никто не покупал.

Стоят жены врачей, врачи, жены офицеров и адвокатов, кухарки бывшие, профессорские жены...

Тут и каэрки, тут и эсерки, тут все. Все женщины: старые, молодые, красивые или уроды, но только они одни могли тащить на себе свои семьи до нэпа.

Голодали питерцы ужасно...

А знаете ли вы, что такое голодать? Что такое голод? Это — болезнь, говорит простонародье, и чем дальше, тем хуже.

Это когда ты целый день ничего не ел и к вечеру не достал ни кусочка хлеба и так лег спать. А через час проснулся весь мокрый от слабости. В голове тяжесть и глаза болят. Сам ты вытянут в струнку: при лежанье на спине можешь рукой спереди прощупать свои почки, и у тебя уже не живот, а ямочка. И все время хочется спать, и так сладко ты дремлешь, только голове холодно и ноги дрожат мелкой дрожью. Мозг один во всем теле работает, да сердце стучит быстро, неровно. И ты думаешь: встань, там за шкафом мыши рыли — крошки видно на полу. Встань, в шкафу остался воск медовый — можно его вкусно съесть. Встань, в помойке яблоко гнилое третий день лежит. А зеленый хлеб? — Это будто мох зеленый, его многие едят и очень хвалят. Можно фунт муки картофельной в воде негусто разболтать, блины отличные изжарить, насыпав соли на плиту.

Так рифмуются в голове все желанья твои.

Но крошки мыши съели, яблоко в помойке нищий подобрал, воск был для полу, хлеб зеленый хозяйка забрала, а фунт муки картофельной еще должны давать по карточкам литеры А, по купону №32.

Или твой близкий болен, хлеба дома нет, ты несешься за 10 верст конину достать, чтобы суп горячий ему сварить. И ты варишь эту конину, а она серой, сладкой пеной из горшка "прет" и к горлу тебе подступает.

Или эта махорка, ее все курят, а курят от голода и плюют.

Плюют, плюют, и целые лужи от этого наплеванные стоят.

И смотришь на этих сосущих "цигарки", плюющих людей, и горько становится.



Трудно нам было в Питере, голодали мы под конец жестоко.

Знаю, что один раз сходили в Петрокоммуну, где мужа хорошо в лицо знали многие коммунисты, и получили за кого-то 52 фунта селедок с червями, которые мы обрачивали по методу Камерного театра в газетную бумагу, потом жгли, держа на палке селедку, и она получалась нежная, как балык. Голодали мы, как все...

Стояла я тоже на рынке, тоже барыня. Стояла день, два, неделю. Все продала до ниточки — это контрабандистам. Трудно нам было еще и потому, что мужа в лицо знали многие чекисты и Гр. Зиновьев.

Знаю, что в последнюю ночь перед отъездом не спали. Знаю, что не хватило наших миллионов, что муж целые сутки бегал, занимал под честное слово деньги, что купал финские марки и что я продала его последний черный пиджак и оставила ему какую-то курточку-кофточку с перламутровыми пуговицами, которая не напоминала в нем барина, а так, советского служащего.

И вот, с мешком советских денег, с двумя фунтами хлеба, двумя тысячами финских марок, двумя паспортами, мы двое отправляемся за границу.

\* \* \*

Если вы спросите меня, по каким улицам мы шли и с какого вокзала мы выехали, я не смогу вам сказать. Но могу вам сказать, скоро мы приехали туда, куда надо.

Утром в субботу мы вышли.

Шел дождь.

Драповые пальто, по русскому обычаю, что пар костей не ломит, мы надели на себя. Это в июле месяце самого жаркого года в России за последнее десятилетие.

Мне в нем было очень жарко. А кроме того, оно было

очень красивое и совсем не подходило к моим соседкам молочницам.

Людей в вагоне тьма. Сидят на лавочках, сидят на полочках, сидят на полу, стоят в проходах, на ступеньках, лестничках, висят на буферах и спят на крышах и всюду, и везде, где можно прицепиться.

Смеясь ехал наш вагон, никто ни с кем не поругался.

Во время военного контроля только у моего мужа одного спросили документ — трудовую книжку.

Книжка была новая, хорошая, с печатями. Но он сидел в своем пальто в другом углу вагона. "Барин барином", — говорили молочницы.

У меня с бабами самые лучшие разговоры о хозяйстве, вещах.

Они меня ощупали, осмотрели, почти что раздели. А про пальто сказали: "Что, везешь на обмен?" — "Да". — "А сколько хочешь?" — "Много хочу, оно ведь каракульча". — "Врешь, не может быть". — "Ей-Богу, каракульча". — "А что это значит, каракульча?"

Так, смеясь и болтая, мы ехали, ехали, ехали. — Поезд остановился, и мы встали.

А когда мы шли к тому месту, куда надо было, то мы встречали патрули — босых, голодных солдат.

Женщины проходили мимо, а у мужчин спрашивали пропуска. Каждый раз мой муж, он был без пропуска, подходил к ним закурить и одновременно протягивал солдату папиросу. Потом посидит с ними молча; все помолчат, поплюют, и пойдет он своей дорогой, а я выглядываю спеша из-за угла.

Контрабандист рысью мчится по шоссе, две сестры с молочными бидонами путь указывают.

Прошли 10 верст в полтора или два часа. Сил мало, голодали мы давно, а идти еще столько же до деревни. На ногах у меня советские ботинки, что красным сестрам по карточкам выдавали. Ботинки добротные: самовар новый

на них обменяли; стучат по шоссе, как деревяшки. Вещей у нас немало, все на себе надето для конспирации. И не хочется оставить, а вдруг в предварилку попадем на осень, на зиму. А там не топят и не кормят, там "вещами кормятся". Вещевая валюта выше доллара в России стоит.

Тяжело было идти. На пятнадцатую версту сил не хватает. Ботинки сестры советской от воды, от глины стали будто пудовики, и по шоссе они стучат все громче и громче...

Господи, как было неудобно, как жарко, как мокро.

Обегая посты, мы шли по тропочкам, по воде, по речкам. И на нас все мокло, мокло и вконец размокло. Наконец мы пришли под деревню. Сестры убежали. Мы потихоньку в избу, а у избы елочка 27 лет: можно по веткам посчитать.

Вошли — сынок контрабандист, да мы... Баба одна лежит, другая сидит. Руку им подали. Сели.

Открывается дверь. Девочка, девочка, мальчик, опять девочка и еще девочка с ребенком, а потом постарше, потом женщина, женщина и еще женщина, а потом мужики пришли, человек шестнадцать, а мы все сидим да молчим. Мы молчим, они молчат. Помолчали, помолчали, да ушли. Вся деревня побыла.

Спрашиваю отца контрабандиста: "Что это за люди?" — "Это все наши". — "А что за наши?" — "Это — контрабандисты". — "А зачем они пришли?" — "А посмотреть вас". — "Зачем?" — "А вот барин с.-р. Насчет земли все интересуемся". — "Ну, а зачем они знают, что барин с.-р.?" — "Это ничего, мы сочувствуем". — "Ну, хорошо, что сочувствуете. А сынок ваш, контрабандист, при исполкоме, тоже сочувствует?" — "Да, он очень сочувствует".

Пошли хозяева муку молоть кустарным способом: два жернова — крутят, вертят — вот и десять фунтов муки и за размол ничего давать не надо. По пять фунтов с пуда

брали последнее время в пользу исполкома на мельнице.

Посидели, посушились, поели и легли спать.

А вокруг ограды ходят — особый отдел чеки.

Когда стемнело, пришел контрабандист.

"Ушли, — говорит, — на ночь". Мальчишки весь день стерегли особый отдел. Особый отдел в лес — мальчишки за ними. Особый отдел в дом, мальчишки за ними. О.О. спать — мальчишки спать. О.О. встал — мальчишки встали. "На рассвете вернутся в четыре часа, значит, нам в путь".

Четыре часа ночи, это значит, по-настоящему, час ночи; ни дети, ни коровы, ни куры передвижения стрелки часов не признают. По-советски коровы ложились спать в 12 часов ночи.

Ну, а нам? Нам еще два часа ждать.

Потушили огни, вмиг клопы облепили. То с потолка, то со стола, то сверху, то снизу, будто летают. Вот пытка. Не один, не два, а сотни. Сколько их? Тьма. Два часа мы металась по избе. А изба хорошая, сто лет, а то и больше стоит. "Ни разу клопов не выводили — и в обычае этого не было," — сказал хозяин.

Вышли мы в четвертом часу по-советски. Все трое пригнувшись, до земли согнувшись. Будто за грибами. В руках пустые корзинки, а все на себе. Бежим час, только вода хлоп-хлоп. Бежим два, тут посуше стало. Потом речка, прямо по речке, по пояс. А в корзинках грибы — будто грибы собираем. Дорога. Легли, послушали. Опять бежим, опять болото. Вот уже посветлело, вот туман сизый поднялся и ушел в ближайший лес. А мы бежим, бежим.

Бежали, бежали, да заблудились, попали в чертово место. Тут осина, там осина. Тут болото, там болото, а где конец? Бьемся час, другой и третий.

Вот уже и полдень, солнышко закрыто, где запад, где восток? Компаса не взяли из конспирации. А лес дре-

мучий, дремучий... А ягоды, а птицы, а грибы вот какие... И ветер не дует. А дуть он должен в левое ухо, а идти направо, как говорят люди. Молчит ветер, молчит лес... Дождь пошел, и стало тихо-тихо. А комары. Кажется, не было места, где не было волдыря. Большие, огромные. Укусит, так кровь льется.

Это леса приладожского озера.

Усталые, измученные, мокрые от пота, воды, идем сквозь кустарники; как забор, руками ломаешь его. Одежда мокрая, юбки жгутом ноги связывают. Падаю, обрываюсь, не поспеваю. Контрабандист все вперед да вперед... Только остановились, чтобы дух перевести, а он в кусты.

Муж за ним бегом. "Стой, стой, дорога тут," — кричит ему. Остановился, вернулся. Взяла под руку, пошли все вместе.

А дорога-то не дорога, а трава примятая. Нарочно сказал: "Вон там". И идем "там", а там телега лежит. Зеленые банды стояли. Банки от консервов валяются. Ну, слава Богу, а то, видно, леший водил нас.

Потом лесное пожарище, потом тропинка, а потом еще дорога и болота. Но солнышко уже выглянуло на западе и зажгло нас. И мы быстро к вечеру перешли границу, не заметив ее. Верст сорок, а то и больше, мы сделали. А граница вся заросла, будто не граница.

\* \* \*

Когда контрабандист ушел, мы не ощущали ни радости, ни восторга, как полагается по этикету беженцев. Мы ничего не ощущали. Одна огромная, большая боль во всех частях тела.

Ну, дальше.

Дальше, дальше.

Дальше стоит дом на куриных лапках, только не вертится. А позади амбары. А в избе Баба-Яга Костяная Нога. Услыхала русский дух и обрадовалась. Вышла на

улицу и рукой махнула.

Не пошли.

Потом старушка оказалась очень хорошей, и звали ее Лизой, как меня. Двадцать восемь лет как она овдовела. А был у нее муж тоже русский. И все тридцать пять лет учил он ее по-русски, но все слова она уже забыла, "Лиза" же она говорила совершенно ясно и все звала меня "Лиза".

Был сенокос, и самый главный пришел к ночи. Так и так, мы хотим ехать в карантин, доставьте лошадь. Что-то он нас еще спрашивал, мы не поняли, и получилась "заворожка", о которой дальше.

Пришли братья: братья-разбойники. Четверо, один другого выше. Все высокие, здоровые, красивые. Один на костылях, но гигант. В свалке ему ногу повредили когда-то. Но и контрабанды он потаскал на своем веку и поохотился на больших дорогах. А красивый, самый красивый. А глаза? А зубы? А волосы? А смех?

Хозяин наш тридцать пять лет в лесу. Весь посерел. Вот ляжет на землю, и зимой, и летом не отличишь от нее. Лицо серое, ноздри серые, уши длинные, серые, глаза быстрые, тоже серые, а сам сухой. И смотрит так по сторонам, головы не поворачивая, как собака, как волк. Да и волк он в самом деле. Серый волк и тихохонько через кусты пробирается. А погонишься за ним, птицей обернется. Перевертень какой-то.

Живут они все время без баб. Коровами еще промышляют, чтобы у границы жить. Старушка для хозяйства в услужении у них состоит. Да другие еще два брата разбойничка, с пяти лет все спички таскали через границу, все кочки да тропинки в лицо знают. Теперь им по 22 года.

Легли все поздно. Все на полу, хозяин на кровати. Старушка в сенях, ее не видно. Ночь. Лежат разбойники, не спят, ворочаются. Мой муж один только спит. Тонкий, бледный, весь прозрачный, будто неземной.

Вот тут меня ужас и обуял. Вот оно самое страшное-то. Шел час за часом. Они не спали. Свет бы скорее, утро бы, утро бы. Я молилась, не зная кому. Голова горит как в

огне, щеки пылают. "Вся обожженная солнцем чужим, богу чужому молилася я". Света, рассвета звала я. И он пришел, этот рассвет. Седой, но знакомый, родной. Было пять часов утра. Коровы, куры, птицы проснулись. Разбойники встали и мы с ними.

И стало мне стыдно моих дум; скорей одеться, на крыльцо, и дальше, дальше... Выхожу на крыльцо. Два полисмена. "Здравствуйте". Сняли они мне с приветом шапки и подошли снаружи к окну, у которого муж сидел.

\* \* \*

Лошадь, которую мы заказали, приехала одновременно с полицией.

Наши хозяева только кивали головами и говорили: "Не так сделано".

А я? А мы? Мы были очень довольны, что сейчас ландсман, потом карантин, и дальше, дальше...

Ехали на двуколке восемь километров по гористым местам. Утро северное, место, богатое лесом, и сколько в нем разных красных, зеленых и желтых красок... И полисмены так чисто одеты, посвистывают "Интернационал", и совсем не наши босые отряды.

Приехали к ландсману. Он просмотрел лежащие на столе списки на право въезда в Финляндию и не нашел наших фамилий; позвонил по телефону, телефон после ночной бури не действовал, послал за переводчиком, который нам и доложил, что ввиду исключительных условий — я женщина, а телефон испорчен — мы съездим к коменданту в Рауту, может, он отменит обычное в таких случаях постановление и нас отправят в карантин, а не обратно. Вообще же всех русских, не имеющих разрешения на въезд в Финляндию, обратно отправляют в Россию. Этого мы не знали.

Поехали в Рауту — 75 километров по гористому шоссе, после вчерашнего дня, после трех бессонных ночей, в

маленькой двуколке, где кучер сидит у тебя на ногах. Каждый камень, каждый неровный скачок лошади, все отдавалось в тебе. Подле, на чудной заводской лошади, гарцевал переводчик.

Ехали мы, ехали и все узнавали новое. Что комендант Рауты — зверь, что расправляется он жестоко с беженцами, что после прихода кронштадтцев бдительность в этой части границы была усилена, и что матросов пачками сдавали коммунистам, и что сейчас еще часть подлежит сдаче.

Но не знали тогда в Финляндии, что эти пачки матросов приводились в предварилку, а ночью их пачками же расстреливали...

Узнали мы и то, что ингерманландцев приказано расстреливать при вторичном появлении и неизвестно, будет ли применен этот способ к моему мужу, но что лучше, если он вторично не пытается идти.

Рассказали нам также про случай на днях. На моторной лодке приехал один полковник Т. с двухлетним мальчиком и беременной женой на последнем месяце. Комендант, который довольно сносно владеет немецким языком, после того, как эта несчастная женщина, жена офицера, немка по происхождению, валялась у него четыре часа в ногах, умоляя их оставить, этот негодяй, великолепно понявший ее, решил отослать их в Россию. И только тогда, когда полковник сказал, что он сядет в лодку и взорвет ее со всей семьей, — зверь послал их в карантин.

Я лично потом видела в карантине одного офицера К., почти ослепшего, с мокрой экземой на лице, без копейки денег. Он так же, как и мы, попал к коменданту в Рауту. Этот самый комендант продержал его три дня в изоляторе, где его вши облепили (это в Финляндии, в 21 году!), и без слова допроса велел вывезти за границу по шоссе. Офицер скрывался целый месяц в сене, которым запорошило лицо и глаза. Все же деньги и бриллианты ушли на черный хлеб, которым он питался.

Был еще случай с татарским писателем Б., с которым я



сидела в карантине. Его продержали ночь в изоляторе и вернули в Россию, когда имелось разрешение на въезд в Гельсингфорс, о чем хлопотала вся татарская колония: он, уважаемый общественный деятель, популярная личность среди русских татар, четыре года жил нелегально в России.

Подъезжая к коменданту, я знала, что нас вернут, но просить я не умею, а злиться не поможет.

Кто же это такой, этот зверь, комендант такого большого округа, как Раута, и что это за такая ориентация на большевиков? С лицом пикового валета. Русского языка совершенно не знает. Сражался против русских на немецком фронте и сейчас продолжает сражаться. Но только с кем? Все национальности он предает большевикам. Не сотрудничество ли? Эта мысль мне западает в голову.

Глупо, сухо, надменно он выслушал переводчика, а нас не пожелал видеть, мы стояли в передней. Потом позвонили в Териоки по телефону, в Териоках сидит у телефона барышня, сестра милосердия. Спросил, нет ли разрешения для такого-то, неверно произнося фамилию, и сказал переводчику: "Обратно, на шоссе, они сразу встретят русских, если боятся леса ночью".

\* \* \*

Я вошла к нему в комнату, он не пожелал вторично говорить с переводчиком. "Будьте вы джентльменом, выслушайте нас. Вы должны, кажется, знать, что члены русского парламента (наше Учредительное Собрание) сидят как заложники, и мужу угрожает расстрел, если его встретит отряд на границе Финляндии. Брат моего мужа недавно расстрелян... Мы так много сделали для финнов, когда они сидели в "Крестах", будьте гостеприимны. И, наконец, нас знает г-н И., который может засвидетельствовать, что русские социалисты-революционеры не были врагами финляндской самостоятельности. Нас знают еще домовладельцы в Териоках, они русские, но за давностью лет

финские граждане".

Я знала, что достаточно двух поручителей, что мы некоммунисты, чтобы нас оставили в карантине, это право беженцев. Но он не слушал меня и сказал: "Geben Sie fort! Heute ist Sonntag, und ich muß die Tür zumachen. Für Sie habe ich keine Zeit". Муж все время молчал, только pokrылся красными, темными пятнами.

А наш переводчик?

Молодому человеку было стыдно, и он не мог смотреть нам в глаза. "Ведь это позор для Финляндии". Знал он наверняка, что, выведя нас на границу, он наверняка выведет нас на расстрел.

В 11 часов ночи нас подвезли к дремучему темному лесу. Мы настояли, чтоб нас подвели к той же тропинке. Всю дорогу я просила извозчика найти нам контрабандиста. Когда переводчик подъезжал, он отвечал "не полагается", когда отъезжал, он говорил "можно".

Настала ночь. Мы расплатились с возницей, распросались с переводчиком и вошли в лес.

\* \* \*

Если вы спросите, как мы провели ночь в дремучем лесу... то я расскажу вам. Прекрасная чистая комната, где чистое белье, белая скатерть и все лакомства земные, была нам предоставлена за "ритцать марок" — за "ритцать копеек" вейки возили в Петрограде на масленице. Всю ночь горела ярко лампа, и высохшие вещи на нас я зашила в две посылки, написав адреса. Их должны были отослать в Териоки. Люди, которые нас окружали, совсем не говорили по-русски; женщины все время гладили меня руками.

Я купила нам чаю, сахару, кофе, какао, масла и папирос. О, папиросы, как мне из-за них влетело!.. Папиросы эти дороже в Финляндии, чем в России, и никто их не тащит как контрабанду. Мы послали телеграммы друзьям, всю ночь ждали ответа, но тщетно. До двух часов дня мы

тянули и ждали разрешения этого вопроса, но нас торопили наши гостеприимные хозяева. Остаться больше нельзя было.

Пройдя пятнадцать минут, ноги мои не хотели идти.

Но вдруг неведомые друзья послали нам контрабандиста, который кругом навстречу бежал к нам. Этот человек был серый волк, но какой волк! Он только нюхал воздух и бежал, бежал...

Надо было придти до того времени, как коровы с поля идут, тогда отряды идут на розыски.

Волк совсем не говорил. Мы не шли, мы бежали, мы летели. У меня будто выросли крылья, я забыла, что у меня уже окровавленные ноги. Вещей у меня лично ничего не было. Одно белое платье висело на мне, как на палке. До шести часов мы бежали, не останавливаясь, не разговаривая.

Так мы пришли к стадам.

Услыхали звон колокольчиков. Наш попутчик, как дикая кошка, прыг в кусты — направо, направо. Что это за скачка была!.. Ну вот, остановился, прыгнул в лесок. Дышим так, что паровоз двигать можем своим дыханием. А потом мелким-мелким шагом по орешнику.

Вдруг отряд... ругается нехорошими словами. Мы в кусты, кусты. Каждый отдельно. Бежим все трое боком. Две фигуры впереди, а я вся в комочек сплющилась. Ветка хлоп меня по лицу, да как рванет меня за волосы, я и подвисла. Сорвалась, своих догнала. Волосы до пояса, во все стороны. Ведьма, ведьма! Вот она, кровь моя — киевская я ведьма. И себя не жаль, ничего не жаль. Огонь — огонь, вода — вода — через них пойду.

Сели, опустили на коленки мы все трое, возле елочки. А с другой стороны елочки "парень с девкою милуется". "Марфинька, я тут", — зовет он ее, и слышно дыхание... Потом нам сказали, что это чекист из Ос.Отд.

Молнией взметнулись мы в озеро... Вышли, а в кусте волк обтирается да обтряхивается. — Больше не могу, — говорит он человеческим голосом. Дали мы ему денег, не

простились. Он на запад, мы на восток рысью понеслись.

Вот и конец леса, вот кольцом поля вокруг деревни, а вот дороги. Дороги все к церкви на гору идут, а против церкви особый отдел. Особый отдел Чеки по дорожкам гуляет да революционные песни распевает.

Видим, сидит старик, а лет ему сто, а то и больше. А нам, нам тоже по сто лет. И вид у нас: на мокром теле мокрые костюмы, а поверх наши теплые пальто. А лица, лица наши! Все искусаны комарами, в крови, и пот в три ручья у мужа льется. На спине финский товар, в особенности папиросы.

— Дедушка! А как в деревню пройти? Мы за картошкой. Товар есть. — Вы откуда? — Мы со станции. — А как вы со станции, если станция там! Вы с границы? — Царство Небесное! Вот говорила я, что нужно идти налево, а муж — направо. — Дед посмотрел на солнце и сказал: — Идите туда, там отрядов нет.

Бежим через поле по меже, дальше, дальше.

Вдруг мужик с бабой сено косят. — Здравствуйте, здравствуйте. — А нельзя ли молочка испить?

— Да вы откуда? — А вот, со станции, — рукой правильно направление указываем. — Нет, молока нет.

— А не знаете ли вы такого-то, его дочь мне молоко носит, а старика я лечу, он больной. — Это мой дядя, — сказал мужик.

Сразу понял он все.

— Идем в избу. Изба очень близко. Только подходим — бежит босой солдат. — Я из О.О. Ваш отец сидит там, пришел из Финляндии, третий день без хлеба и молока. — И сел на крыльцо. И мы все на крыльце.

— А вы кто такие? — Мы вообще, за продуктами. — А вы не курите? — Нет, не курим. — (В мешке сотня папирос.) — А вы сколько за билеты платили? — Мы ничего не платили, мы командировочные. — А вы почему тут ходите? Тут в отдел берут, кто ходит. — Знаем, что берут. Мы не боимся, у нас бумажки есть. — Бойтесь, не бойтесь, и с бумажками берут. — А почему берут? — Да

всю неделю тут что было. Одного поймали с листками, а когда вели по шоссе, то он отнял ружье и застрелил нашего...

Молчание.

— Ты небось рязанский? — Да, рязанский. — Ну и земляки. — Паспорт у мужа рязанский. Солдат вшивый, босой, голодный, улыбнулся и замолчал.

Принесла баба целую миску молока. И не будь солдат наш русский-рязанский, то сразу бы своего земляка в Чеку отвел. Земляк, в драповом пальто, как прильнул к миске с молоком, так и головы поднять не мог. Баба приготовила хлеб и молоко и пошла с солдатом в О.О. Солдат на прощание сказал: — Вы не особенно ходите. — Но сказал недобро.

С хозяином распрощались, бежим к дяде его. А папиросы? Все надо куда-нибудь подложить. Бежим. Все 10 коробок под камни да заборы. А про мыло с этикетками мы и забыли. Скорей, скорей, пошлет еще солдат смотреть, что это за люди за картошкой в теплых пальто пришли.

Стало совсем темно. Деревня разбросана по лесам и лугам. Попали в лес. Темно совсем, идем в другую сторону. Вдруг остановились, через забор, в канаву. Бух, бух по воде. Выбрались и увидели елочку, что 27 лет стоит. Обрадовались елочке, побежали к ней, а потом опять не узнали. Зашли в соседнюю избу, а те нас в елочкину избу. Вот и спаслись...

Старики сидят. Рассказали им все. И обласкали они нас.

Не буду рассказывать, как мы пробыли там еще сутки, как ели нас клопы, как мы спали в сенях. Кажется, нам было все равно. Мы почти сто верст на ногах сделали в двое суток.

На второй день, пройдя эти самые двадцать верст уже без вещей, без копейки денег, мы на станции узнали, почему "солдатенка" нас спрашивал о цене билета. Билет с 8 рублей поднялся до 5 тысяч. Купила нам билеты "сестрен-

ка". А мы, истратив все свои силы, состояние, потеряв свои надежды и вещи, с корзинкой творогу, черники да 5 ф. хлеба пришли на ту самую квартиру.

А в доказательство того, что все наше путешествие не было выдумкой, мы пили настоящий кофе и чай, ели шоколад и много, много сахара. Окровавленные ноги были в черных чулках, купленных в Финляндии. Сидели мы, завернутые в простыни, белья другого не было, истопив ванну бумагой "Заветов". Чистые и пахнущие туалетным мылом, мы смеялись и не знали, что с нами будет завтра.

## *ЧАСТЬ ВТОРАЯ*

Через неделю у нас было разрешение на въезд в Финляндию. У нас были деньги, у нас была одежда. Нас приютили чужие люди, нас кормили чужие друзья. Свет не без добрых людей.

Начался уже нэп.

Усталость, беготня, возня с визами сделали эту неделю незаметной...

Жизнь шла своим чередом, только на три часа раньше, чем в прежнее время. Я знала, что матросы умирали в лагерях по Мурманской железной дороге, раскаявшиеся в свободной торговле, но не раскаявшиеся "во всей власти советам". Я слыхала страшную сказку для взрослых, для каждого города свою сказку, о том, что кладбища кормят свиней толстокожих, и сказка ходила из города в город, покуда голодные стали покойников есть.

Я знала, что на углу Невского и Владимирского проспекта была устроена лотерея краденых вещей в пользу голодающих. По ночам витрины блистали огнями, и изредка появлялись личности, желающие купить лотерейный билет. Зато на улице стояло видимо-невидимо людей, которые старались узнавать свои вещи через окно. Публику стали разгонять... Но когда в окнах появились

кожаные куртки, пожертвованные для розыгрыша, дело совсем перестало иметь успех. — Каждый коммунист много дал, чтобы в его квартире не было кожаной куртки: плохо она пахнет... И завалили они тогда лотерею кожаными куртками.

Знала я, что аресты в городе жестокие, что перестали принимать передачи для арестованных, что тот, у кого муж хотел ночевать накануне отъезда и от кого он ушел на рассвете, был арестован и сидит безнадежно в камере смертников. Вся вина его заключалась в том, что веселый князь Шаховской, весело играющий в Монте Карло и весело описавший в мемуарах свои жизненные приключения в Советской России, рассказал, как один адвокат дал за него взятку в тысячу шведских крон следователю и он так легко отделался. Да, он отделался одной тысячью шведских крон — и жизнью всеми уважаемого и доброго адвоката Белостоцкого, у которого в Риге остались сын и молодая жена. Когда эти веселые господа переходят границу, они совершенно забывают, что позади остается распятая Россия.

Знала я, что Гумилев арестован, что у Лозинского засада, что Ремизов удрал за границу и что вообще не все спокойно.

\* \* \*

Собрались. Без вещей, без тяжести.

Не заметила я только того, что контрабандист нас избегал и мне за 10 минут за отъезда поезда пришлось искать его в каком-то вертепе кокаинистов. Вернувшись на вокзал, я насилу отыскала своего мужа: увидя, что опять какого-то господина изъяли из очереди, он засел в вагоне с молочницами и ждал меня.

Бегала я по всему поезду и искала контрабандиста, который после вчерашнего кокаина спал бледный.

Потом мы ехали, ехали. И тошнило от поезда, от баб и от того, что ничего с утра не поели, и вообще было тошно от всего.

Опять пошли; но пыли в нас уже не было. Опять эти самые 20 верст, те же патрули, те же папиросы, так же "помолчали", "поплевали".

Да еще по дороге шел "солдатенка", с ружьем, тот, рязанский; не узнал он нас, шел, разговаривал, как вдруг встречная баба: "Родимые, арестованного барина ведут". Солдат сконфузился. "Ты мне поговори". Опять прохожие, опять навстречу ребятишки. — "Гляди, гляди, дяденьку арестованного ведут". — Солдат как рассердится, как побежит от нас — и след простыл.

Пришли мы в деревню тем же порядком, теми же тропочками, лужищами да улочками.

Старики хмурые сидят... Старухе сон снился, что какой-то покойник хлеба поел, а остатки доел сын их, наш контрабандист.

Контрабандисту неохота идти, а стыдно отказаться: не доделал он своего дела прошлый раз, не туда он нас послал. Но тут и другое. Никто не хочет идти, хотя деньги всем нужны. Дан приказ в Особ. Отделе расстреливать на месте идущих одиночек. За эту неделю 7—9 человек найдено убитыми, и все раздеты.

А пастухи видели, что с лопатами солдаты в лес ходили, лица убитого не видали, но думают, что из Финляндии шел, по дороге след на земле от сапог, а в России летом сапог и в обычае теперь нет носить.

Пришли старые контрабандисты, говорили, судили. "Нехорошо с вами вышло, наша вина, а поправить нельзя. Время сейчас нехорошее. В Финляндии вам прятаться до Териок надо, а там комендант — пастор, он теперь вместо Белоостровской кирки в комендатуре служит".

Прибежали молодые контрабандисты-мальчишки: "Нет, нельзя идти, — говорят, — ночью лесничий видел, как труп зарывали". Прямо в голову из-за спины стреляли, а потом раздели. Говорили они, что и зеленые голодные



рыщут по лесу... и что с севера медведь пришел, человеческого мяса ищет. Двух коров разодрал... И что мальчишкам за О.О. бегать по улице нельзя, теперь гонят камнями. И что воют волки по ночам и что белые наступают на красных, а в каком месте — неизвестно. И что сам черт в Особом Отделе ничего не знает. А то ведут, ведут арестованного, а его нет, исчез, ты его ищи, а охрана лежит сбоку, будто мертвая.

Вот вам и тысячу первая сказка...

Мы не отстаем, но видим, что действительно что-то изменилось за эту неделю, что строгости пошли большие.

Когда я выписала всевозможные лекарства моему пациенту, бывшему сифилитику, он пошел еще на разведки и просил приготовиться идти в 11 часов ночи.

Ночи стали темные.

Это был третий день нашего скрыванья в избе.

Пойдем — не пойдем, пойдем — не пойдем.

Вдруг с криком, с гиком ворвались 300 конных солдат в деревушку, в 10 часов вечера. В каждую избу по три лошади да по три солдата. Муж в чулан, а я босиком вырядилась и стала ватрушки с картошкой лепить. Влетели соколики. Один в огород, а лошадь свою в овес. Двое вошли в избу. Один перекрестился и сразу сволокнул советскую власть. А когда хозяин хотел заступиться для приличия, так тот и пошел... От Ростова-на-Дону до Питера и обратно брань его текла. Он свободный казак... — Вы мне только карту покажите, я сразу удеру, а людей ловить по границам не хочу, сам дорогу укажу!

Другой солдат, рабочий Обуховского завода, худой, чахоточный, все одно говорил: — Я с вами, товарищ, вполне соглашаюсь.

Третий солдат был полячок, дрянь парнишка, ругался и воровал он артистически.

Узнали мы от них, что была армия красная, а теперь "пре-красная", что хлеба у них никогда нет, что больше воровством живут да спекуляцией и что "мы им покажем". В 11 ч. им дано распоряжение оцепить дороги, но никто ни-

чего не оцепил, так как местность была незнакомая. Солдаты легли усталые, голодные, без хлеба, на дворе.

Где-то прогремел выстрел. Вернулся контрабандист. В Ос. Отд. совещание. А у меня в душе был восторг, что не идти: я страшно боялась солдат.

Спали крепко два часа на дворе, а когда я проснулась, то во мне было столько озорства, что море по колено.

Вышли мы на рассвете, обратно в Питер.

Опять хлеб, творог, морошка. И вещей совсем нет. И идешь так босая по полям, по ложбинам. И ветер с тобой борется, и пыль тебя целует, и отряды тебе уже родные. Так шла я вся озорная все двадцать верст и задирала по пути прохожих, детей и собак.

Переругалась со всем вагоном в поезде.

И с мужем будто чужая, незнакомая: ему наверно стыдно было, что я такая. А затем пошла с вокзала, в своем грязном белом платье, в чернике и в пыли, в кафе нэпо и не стыдилась своих голых ног. Море было по колено. Опять мы пришли в ту же самую квартиру, где мы могли всегда себе приют найти...

Там мы узнали, что Таганцевский процесс идет, финская граница на военном положении и что всякого, кого встретят в лесу, расстреливают на месте, как шпиона; что Гришка Зиновьев неистовствует; что папа и мама его, нынешние владельцы молочной фермы "Бенуа", перестали гулять по дорожкам сада при ферме; что чекист Озолин отрекся от своего старого друга Белостоцкого, арестованного по Таганцевскому процессу, и тем самым проложил ему дорогу на тот свет, и что Горький три раза ездил в Кремль, чтобы дело было рассмотрено ВЧК-ой, а не Пит. Чекой единолично, и что каждый час ждут расстрела целой группы лиц, которая подлежала освобождению, и что белыми нитками советскими шьется белогвардейский процесс Таганцева, и что во многих семьях ждут покойника...

Было жутко тогда в Петрограде, смерть гуляла повсюду.

Вот эти три дня мы и просидели в избе.

Три других дня мы сидели в Питере.  
В это время умер Блок.

\* \* \*

Вдруг возможность уехать...

Ехать одному моему мужу. Спокойно в лодке с детьми... И можно часть денег уплатить, а остальную за границей...

Выплакала я, вымолила у него этот отъезд...

Или Бутырки вместе со всеми эсерами, или опять скрывание по чужим квартирам, трущобам; просиживание на улице до рассвета на бульваре. И когда на могилу ребенка, как вор, пробирался он, у нас на шести наших бывших квартирах сидели засады. Или когда даже лучшие друзья при виде нас приходили в ужас и посылали в Клин, чтобы ночь во вшивом поезде пробыть.

Правда, много было и других друзей, которые лучшее место в квартире у печки давали.

Повторить еще снова такой год, когда мне приходилось делать в день по 14 верст, чтобы достать фунт хлеба да кусок сахара.

— Лучше Бутырки, — говорили мы оба.

Но ведь Бутырки тюрьма, а это свобода...

Четыре года почти нелегальной жизни.

И могила нашего ребенка.

Вот итоги нашей жизни при большевиках.

\* \* \*

Последние деньги собрала, последние корки подсушила, яйцо одно сварила. Советский портфель свой полотняный в руки дала и проводила за Калининский мост. А когда шла обратно, то взошла луна, и на ногах у меня уже не было туфель: я ступала босыми подошвами по

мшистому бульжнику петроградских улиц.

Я была наконец одна, а одна голова не бедна.

И решила я еще раз съездить в Москву.

Всю ночь светила луна, это было так плохо для лодки. Я смотрела до утра в окно на небо, и оно ни разу не замурилось, а утром пошел дождь.

Это было 21 августа, в ту самую ночь, когда расстреляли Гумилева, поэта, нашего доброго знакомого Белостоцкого и много других по Таганцевскому процессу.

И целых 42 женщины, скованных между собой, которых волокли по улицам, а они кричали, рвались, металась так, что сил уж не было у них стоять при расстреле, и их перестреляли лежа, в могилах.

Вот это ночь была какая.

И я знаю теперь, почему ночь была такая светлая — последняя ночь этих мучеников.

А к утру пошел дождь, будто заплакал о них.

Через неделю узнала, что муж в Териоках и что Горький заболел после расстрела. Горького мы все тогда не любили.

\* \* \*

Я была эти дни совсем одна и до обморока голодна. Получив известие, что муж в Финляндии, я поехала в Москву. А вышло это так. Встаю в 8 часов утра, выхожу на улицу и продаю четыре простыни и смену белья за 140 тысяч. Иду на Большую Конюшенную, в городскую кассу, становлюсь в очередь платных билетов (мои командировки были сожжены) под № 298 и стою до четырех часов безрезультатно. Ничего вчера не ела. Время закрытия кассы — пять часов, очередь подвинулась на 12—15 человек, так как преимущество не за платными пассажирами, а за предложениями — это был новый термин для бесплатных пассажиров, едущих по государственным делам, или не-

счастливых советских служащих, отправляющихся в летний отпуск в конце сентября.

В платной очереди много интеллигентных лиц, это идет вторая неделя, когда можно за плату поехать куда надо, и все торопятся использовать эту возможность, а то вдруг она кончится.

Ко мне подходит миловидная девушка: "Вы не к арестованным морским офицерам едете?" Их отослали в Москву в течение 24 часов, и никто не знает, почему. Говорят, что несколько миноносок ушло в море и весь офицерский командный состав арестован. Это было между 25 и 28 сентября 21 г., официальных сообщений о том не было, но в Политическом Красн. Кресте известно о таком случае. "Нет, — говорю, — не к арестованным офицерам, но чем могу помочь?" — "Помочь надо, ведь он в одной тужурке пошел за пайком, и больше мы его не видели. Да, из Твери получили открытку, что везут без вещей в Москву, что корректное обращение, но что дальше, дальше в Холмогоры". — "В усыпальницу русской молодежи", — думаю я. Бросаю очередь, надо помочь, но надежды никакой.

Бегу в кассу "за Москву". Очереди нет. "Дайте билет в Москву..." — "Извините, сударыня, только коллективам". — "Пожалуйста, устройте, очень важно, брат арестован". — "Извините, не могу, после, после коллективов, ждите до пяти". Ждем терпеливо до пяти. А с утра ни куска хлеба во рту, ни капли воды, денег в обрез только на билет. Коллективы не пришли. Наконец, против всех правил получаем 2 билета за 283 тысячи по расчету 200 рублей за версту и озираясь отходим от кассы... а вдруг коллективы.

Безим, отвернувшись от платной очереди, где вторые сутки стоят выжидающие своей очереди бедные петербуржцы.

А мы с улыбкой вора уже в вагоне.

Места номерные, для нижних лавочек плацкарта, только для сиденья по три человека, вверху свободно можно лежать. Вот он, нэп.

Вскоре военный контроль. "Ваши мандаты". — "Ман-

дата нет". — "Так нельзя". — "Есть трудовые книжки". — "Так нельзя". — "Почему нельзя? Я еду на свой счет". — "Отпуск надо". — "Откуда?" — "От службы". — "Не служу". — "Нельзя не служить". — "Сокращение штатов на 50 процентов". — "Где увольнительное свидетельство?" — "На новой службе, куда еду". — "Так нельзя". — "Ну тогда что? Тогда моя свободная профессия. Это вас удовлетворяет?" — "Да, удовлетворяет", — отвечает контроль. Ничего, видно, он не понял, судя по глазам. Я получаю обратно свою трудовую книжку — это паспорт, — но никто в вагоне мне не сочувствует, потому что у многих нет свободной профессии, а только простые билеты; их всячески допрашивают, а иных уводят в вагон арестантов. Только одна тридцатилетняя беременная женщина с невинным видом доказывает, что ей 52 года и трудовой повинности она не подлежит.

Вот он, нэп, это его начало...

Едем дальше; старик рядом считает в мешке деньги, доверчиво выкладывает один, два, три миллиона, тридцать и еще, еще, целый мешок и хитро улыбается. Потом вынимает другой мешок, в нем много-много игральных карт. Подвигается и говорит: "Костыль нарочно взял. Эта сволочь в Новгороде из ЧК в карты играет, игорный дом содержу, а ты, барыня, молчи. Четырех сыновей красных командиров на эти деньги содержу, чтоб сами в ЧК не служили". Молчу.

Дальше Бологое.

"Нельзя, здесь платные места". — "А, платные места, мы вам покажем сволочажные; мы за советскую власть, а вы — платные места. Вы белогвардейцы". И целая ватага солдат садятся на лежащих пассажиров.

Вагон не сдавался... "А, мы белогвардейцы, а скажите, какая армия прошла по сенному рынку, белая или красная?" — "А, вы смеетесь против советской власти, мы вам покажем". — "Ну и показывайте..."

Вагон замолк, красные расползлись, белые притихли.

В Лихославле красные ушли и унесли потихоньку три

чужих пакета и вещи миловидной девушки для арестованного брата. Девушка плакала до Москвы.

\* \* \*

Я же хочу рассказать еще о том, как жены, сестры и матери — все русские женщины всех категорий делят с узниками тяжесть их заточения.

Если надо отыскать своего арестованного, хотя бы в Москве, то ты должен пойти на Лубянку, с Лубянки "окно" во все тюрьмы. На Лубянке, № 2 есть комната — без вывески, в ней ящик, в ящик надо опустить конверт "следователю" (неизвестно какому): сообщите, где находится мой муж, сын, брат, исчезнувший тогда-то, увезенный туда-то, арестованный там-то. И два окошечка, и за окошечками два молодчика "никаких справок устно не даем" — а телефонов тьма.

Быстро через комнату вводят и выводят смятых (пальто и шапка смяты) арестованных. Вот и ждешь день, неделю и больше, где арестованный. Или бежишь на Кузнецкий мост, д. № 16 — Политический Красный Крест. Все тебя там боятся, всех ты боишься. Не засадили? — думаешь ты. Не предатель? — думают они. И боишься лишнее слово сказать. И они ничего тебе утешительного не могут сказать. Даже не могут сказать, где арестованный или куда он исчез. "Вы нам скажите, по какому делу он арестован и где он, тогда отыщем и скажем, за каким следователем; всех тюрем тьма сейчас, а лагерей еще больше, свыше 7000 арестованных", — отвечают в Красном Кресте (май, 1921 г.) Десятки, сотни, тысячи женщин посещают этот Красный Крест. И часто видишь спускающуюся женщину с помутившимся взором, сухим ртом, с каплями пота на белом лице. Она узнала, что ее муж расстрелян, а дома трое малюток... Этот Красный Крест — друг арестованного, но друг сам почти арестованный.

Но нет твоего арестованного нигде. Пускаешься на

хитрость — повсюду несешь передачу, а там, где ее не примут — там нет твоего арестованного. Начинаешь с Лубянки, № 2, потом 9, потом 11, потом по переулкам Кисловским. Все, все вперед, только бы узнать: жив ли, есть ли? И наконец озлобленный приемщик отвечает: "Нет, он давно переведен в Бутырки, чего путаете!"

Идешь в Бутырки... чему-то рад. Как будто Бутырки — и не тюрьма! Еще темно — 5 часов утра, а это значит по-настоящему 2 часа ночи. Выходишь из дому, чтоб занять очередь у справочного стола, после чего можешь отдать передачу.

Из Замоскворечья в Бутырки (трамваи не ходят в это время, да и вообще не ходят или ходят для ответственных работников) ты идешь полтора часа. На спине у тебя: каша пшенная 3 фунта, вареная картошка 5 фунтов, вобла, хлеб советский. Знаете ли вы, что за хлеб это? Замазка, палки и старые сухари — все вместе, колючий он и тухло пахнет — весь твой личный паек за 10 дней в десяти кусках — с налетом зеленоватой плесени; непонятно, почему этот советский хлеб к вечеру всегда плесневеет? Несешь на себе всего фунтов 10-15, для надзирателей, для барышень приемщиц, для коммуны и для своего близкого. А на ногах у тебя чуньки — из белых тряпок и старых бечевки. По камням да по бульжнику, под конец пути идешь на ногах, на коже по моче, по помету человеческому, по плевкам да по стеклам. Так идет жена социалиста в социалистическом государстве к мужу-социалисту на свидание или передачу несет ему. А в мешке, который с плеча на плечо перекладываешь, капуста с сахаром братаются и вобла шелушит картошку. А сама голодна как волк. Приходишь в Бутырки. Народу видимо-невидимо. Там за Бутырской тюрьмой есть двухэтажный дом, где принимают передачи.

Хвост змеи вьется — три, четыре комнаты битком набиты. Воздух пресыщен до предела. Раньше были казармы. Он больше года не чистятся. Это для публики. Клозет переполнен — тоже без чистки, и все льется в комнаты: сначала море воды и жидкости, а потом следы по всем



комнатам. Полы каменные; на полах, окнах сидят, лежат, спят люди. С детьми, грудными малютками, и передачи также на полу, и грязное белье, со вчерашнего дня возвращенное. Все вместе.

Вот наконец — у регистрационного стола. У тебя 618 номер. К часу дня ты придвинешься к регистрационному столу. За столом барышни, а на столах ящики с карточками — карточная система. Тебе дают справку: такой-то в камере № 29 и правом передачи не пользуется, так как за Особым Отделом. Отходишь прочь. Все окружают кольцом. Это коридор смертников...

Если же арестованный на более льготном положении, ты идешь в хвост передач. Там — ад. Впереди сбито человек 30-40 женщин с грудными детьми. Стоя потные, иступленные — все орут. Детям суют в рот пустые груди как тряпки. Дети от духоты, тесноты кричат до посинения, до испражнения. А приемщицы еще больше ругаются. "Эка стерва! Ребенка чужого взяла, знаю тебя, вчера мальчик был, а сегодня девочка". — "Сама стерва, смотри: молоко идет!" — и вырывает с сердцем из ротика грудь и жмет грязными пальцами лопнувший сосок, откуда с кровью вытекает голубая капля материнского молока. И бьет по голове ребенка. Это жены рабочих, им не на кого оставить дома детей. Их мужья сидят за то, что, не куря папирос, а получая по пайку, продали на улице сотню папирос, когда запрещалась частная продажа, или потому, что подговаривали не идти на выборы, когда коммунистов выбирали, или проповедовали воздержание при голосовании.

Тут группа жен анархистов, группа тихих женщин. Тут содкомки, жены бандитов, комиссаров — эти хорошо одеты и с прислугами. Там беременная женщина — ее рвет. Там меньшевички. Там Даша Кронштадская, всеобщая печальница, которая всех хочет "понять и простить" и про Дзержинского рассказывала после свидания с ним: "Святой человек... может быть, не совсем нормальный, но чистый, святой человек..."

Или же в Бутырках ты получаешь сведение, что твой арестованный переведен в лагерь. Какой? — Как какой: Покровский или Андроньевский, вернее, Покровский. Берешь — взваливаешь свой багаж на плечи и идешь отыскивать Покровский не то Андреевский лагерь. Идешь, задыхаешься, ноги, босые ноги под туфлями жгут белыми водяными пузырями. Солнце еще высоко. Скорей, скорей, только бы поспеть... Вот Земляной вал, Коровий вал. Вот уже и не город. Вот Андроньевский монастырь. Не там ли? На дверях записка: "Справки по четвергам". А в монастыре деревья цветут да босые бывшие офицеры за супом с котелками идут.

— Куда смотришь, сволочь? — окликает их коммунист. — А вы, сударыня, отойдите.

Да это все те офицеры, которые в один прекрасный день по приглашению советского правительства явились зарегистрироваться, предоставить себя в распоряжение советской власти. Ими и распорядились.

— Эй, сволочь, отойди, — кричит солдат со стены.

Отхожу.

Вот Покровская церковь, что у Таганской тюрьмы. Лагеря нет, но у Симоновского монастыря есть лагерь. Прихожу туда.

Да, лагерь, но лагерь женский для казровских жен.

— Вы поздно пришли, — говорит комендант.

— Да, знаю, что вечер. Но возьмите от меня передачу для этих казровских жен.

— Ты барыня? — говорит мне комендант.

— Да, барыня, но социалистка и ищу брата мужа в Покровском лагере и прошла уже 36 верст. Возьмите от меня передачу: у меня нет сил идти.

— Нет, сударыня, не возьму, так как передачу съедят солдаты.

Иду обратно, еще 7-8 верст, ноги в крови, путаюсь в юбке, путаюсь в словах, в мыслях. Когда приходишь домой, вся передача твоя протухла, т.к. на дворе было 24° жары да накануне каша с луком без масла сварена.

Приехали в Москву. Вот она. Пыльная, грязная, душная, вкусная. Где улицы сплошной рынок, где лозунг дня — "Российская, совершенно фантастическая, спекулятивная республика" вместо трафаретного Ресефесере.

После суточной голодовки и непитья иду в один домовый комитет узнать, можно ли идти на квартиру; там засада, иду в другой, и т.д. до вечера, пока не нашла приюта на ночь.

Назавтра иду на рынок меха продавать. Продаю по баснословной цене, все торопясь, все на ногах, чтобы не поймали, чтобы не отняли, чтобы не увели, не уволокли. А гоняют теперь потому, что торговля разрешается только на ларьках, за которые уплачивается по одному миллиону за пол квадратной сажени в полгода. Но миллионы не деньги в королевстве царя-спекулянта.

Магазины завалены: масло, сало, булки, но ты глотаешь слюну от голода, как глотают ее все служащие и рабочие Москвы. Или с мукой отворачиваешься от окна кондитерской, где голодные малютки грязненькими пальчиками указывают: "А то, то — пирожное, то побольше, то с кремом, — нет, а то с ягодками, а вот булочка". А в руке этого малютки грязненький судок с бобовой жидкостью, да детская карточка и кусочек, как во время причастия просфорка, хлеба.

Милые, бедные дети!

Но вот еще один последний визит, и я еду.

Вхожу в домком, никого нет. Вхожу в квартиру — засада. Два солдата, две винтовки и десять человек арестованных. Инструкция такая: если придет старик, старуха, дворник, ребенок и, кажется, собака или кошка, всех в одну комнату свести и держать до прихода старшего из Чека.

Так и вышло. Сначала пришел сам домком, потом его

дочь, потом его сын, потом молочница, а потом и я.

Мигом в кухню проскочила. Солдаты стали у клозета, туда было запрещено ходить. Я к черной двери, там бабка, я думаю — чека.

— Бабка, а бабка, что делаешь? — Родимая, дрова колю, молоко прокиснет, а люди какие! — Ну, посторонись!

Бабка в сторону, я в дверь. Дверь на замке и ключ сломанный. Крутила, вертела, пальцы все искривила, а дверь не поддавалась.

Мне ничего, а вот знакомым влетит. Я ведь в Финляндии побывала. Весь Питер знал, как мы благополучно прибыли обратно и не утратили желания еще раз повторить. На похоронах Блока все в ужасе уходило и не здоровались, думали, что это дух Постникова, а не он сам пришел Блока хоронить. Знакомые мои совсем побледнели.

Ждем, пождем. Вдруг комиссар приходит в четыре часа. И вдруг меня выпустил, как даму, зашедшую к врачу. Так я и выскочила.

В тот день в Москве было 96 политических засад, и никто не знает, почему.

Я не хочу вам рассказывать, куда я ходила еще... Кого я видала...

Но я расскажу, что видала мать двух детей, брата и сестры, которые в прошлом отсидели самый большой срок царской каторги, и сейчас они сидят... у большевиков. Это те самые двое, которым в числе других угрожает расстрел. Это те двое, у которых осталась одинокая мать.

Я пришла к ней совсем незнакомая, я пришла к ней с могилы моего мальчика, и мы много и тихо говорили как две матери. Она лежала совсем одинокая, ноги ее распухли, потому что сердце ее не работало, оно уже столько билось за всю свою жизнь. Она рассказала мне, что был обыск, когда увели детей, но что-то ужасное было на этом обыске.

Кто он, она не знает? Закрытое панамой лицо, ужасные жесты руками и кошки глаза. Она не знала, что то был

чекист Кожевников, тот славный рабочий, который энтузиазмом своим заражал толпы рабочих в царское смутное время. Что он был лучший друг эсера Берга, Батрака и всероссийского старосты Калинина. И что это был когда-то лучший партийный рабочий, социал-демократ большевик, с которым так легко было нам, эсерам, выносить резолюции на посрамление меньшевиков.

Как дошел ты до жизни такой, русский рабочий социал-демократ? Или тюрьма тебя сделала преступником? Или мать тебя прокляла во чреве своем и ты пошел в чеку? И там не пощадишь матери русских революционеров.

\* \* \*

О, эта русская мать, что извела она за годы большевизма!

Вот она, многоликая...

Знаете ли вы ее, эту серую русскую бабу?

Она стоит на Кузнецком мосту. Мороз. Грязь вмерзла в землю, снег вмерз в конский навоз. Стоит эта серая русская баба, милостыню просит, а подле мальчонка лет трех, в башмачках советских... чулочки рваненькие, штанишки ситцевенькие и платочек теплый на голове. Вот и все.

Мальчонка весь синенький, плачет и злой почему-то. А баба русская, его мать, вся распухшая, вся раздутая, желтая, на девятом месяце ходит, за хлеб забеременела.

Мальчонке дали прохожие гнилое, замерзшее яблоко. Долго серая баба смотрела на яблоко, а когда замерзшие пальчики малютки уронили обгрызок яблока в конский навоз, баба с ловкостью волчицы схватила его и стала пожирать.

Мальчонка плачет и злится. Грязненькие слезки все уже замерзли. Мороз обжигает ему синие щечки, на улице ведь декабрь.

Баба доела яблоко, а мальчонка замерзший, притих-

ший стоял поодаль. Вот эта серая баба, эта та русская мать, которая может в котел положить своего первенца... до этого она дошла.

Вот вам другая мать.

Жена белого офицера, курсистка двадцати двух лет. У нее старуха мать баба-яга и девочка трех лет. Муж по ту сторону фронта.

Три года советской службы на машинке и никакого пайка или паек по голодной норме.

Продано все. Проданы лекции, проданы часы, книги, рубахи, сапоги, костюмы. Все продано на хлеб, на молоко, на беленькую булочку толстенькой маленькой девочке и на кофе старухе.

Все продано, кроме женской чести, как принято говорить.

Молодая мать ничего не ест, только курит, от голода.

А бабка, баба-яга, по комиссаровским кухням ходит греться, да высматривает, кто что ест, кто что достал и вообще, как другие хорошо живут: спекуляцией занимаются, булочками торгуют и дровами не стесняются — тоже жены офицерские...

В комнате дымно, черно, мокро, молодая мать детские штанишки золой трет вместо мыла, да сушит тут же на веревке над буржуйкой.

Пальцы все треснуты, руки распухли, десны кровоточат.

Одни глаза, как свечи, на чахоточном лице горят...

Всю ночь бабка точит молодую мать. И выразаться бабка стала на наречии комиссарских кухонь.

"Сдохнешь". — "Все сдохнем с голоду". — "Сахару не видели вот уже месяц". — "На фронте муж, не было бы фронта, так и сахар был бы". — "Слышишь, дочка, есть хочу, хлеба дай". — "Сил нет". — "Будто бы болезнь какая-то, есть хочу и чем дальше, тем больше". — "Не могу видеть булочки, что маленькой каждый день прино-

сишь". — "Так, кажется, что съела бы..."

Прошла третья зима. На весну мать сошлась с комиссаром из Наркомпрода. Летом были и сахар, и булки, и старуха молчала, и девочка росла.

Должен был родиться комиссаровский ребенок от Наркомпрода.

Шли месяцы.

Мать бросилась в реку. Ее спасли. Потом испанка. Преждевременные роды. Смерть матери и рождение мертвого мальчика.

Комиссар на похороны не мог прийти...

Даже нечем было прикрыть умершую. Только русую косу распустили и покрыли мертвое тело чужого мальчика. Похоронили их вместе в одном гробу.

После смерти баба-яга получила 30 аршин ситцу на родившегося мальчика, 30 аршин ситцу на умершую мать из текстильного отдела Наркомпрода по протекции комиссара, будто партийная умерла.

Вот она еще другая русская мать.

Она не белая, она не красная, но она почти что серая, как земля перед дождем.

Она жена военного инженера, который, как топограф, был на фронте в царскую войну. У нее сын 16 лет и двое малюток. Эти двое родились неожиданно, один за другим.

Вырываясь с фронта, два раза отец приезжал домой, и каждый раз мать, почувствовав себя беременной, думала: пусть родится, ведь отец, может быть, будет убит, а это его последнее дитя. Так родились эти двое под звуки шрапнели, жили они тогда под Варшавой.

Вскоре пришлось бежать семье. В Варшаве встретил их отец, уже слепой. Он ослеп от ужасов войны — паралич зрительного нерва. Такими приехали они все в Москву.

Сын свалился в менингите, единственный работник в семье. Отец слепой нищий и двое малюток поводыри.

А мать? Она служила как конторщица... за 2400 рублей

в месяц. Вся обовшивела. Вся обносила. Сколько ей лет? — Неизвестно. Бани не видела года два.

Встанет в 5 часов утра, пойдет к евреям кухню мыть, в 6 утра забор пойдет ломать на дрова, в семь бежит менять 1 ф. соли, месячный паек, на две бутылки молока у Брестского вокзала.

Полотенце последнее сменяла на фунт белого хлеба.

На консилиум врачей бежит, вся мокрая, вспотевшая, в туфлях, по 28-градусному морозу, по Пятницкой в Замоскворечье. Что с сыном? Кризиса ждали тогда. Сын лежал в бреду, ни молока, ни белого хлеба ему не надо.

Прошла неделя, опасность миновала. Но у мальчика белокровие.

"Питать, питать его, спасти можно". Но чем питать? Мать с ног валится. Слепой ничего не приносит, потому что милостыню в Советской России запрещено просить декретом. День сидела в милиции, за то, что пыталась обменять 1 ф. соли на 3 бутылки молока, да только слепой муж выпросил отпустить "ее, бедную" домой — к детям. Это было в 1921 году, в январе, до нэпа.

И вот, эта женщина мечется взад и вперед. С ведром железным на службу приходит, помой несет домой, чтобы покормить своих, а сама под столом рыбы кости собирает и глодает, и сосет.

"Только бы на ноги поставить мальчика". Что же это за белокровие? Несчастливая, она забыла все. Старую грамматику, новую грамматику, руки трясутся, писать не могут, и вши одолели ее.

"Знаете, я забыла все, чему училась в гимназии, я не помню географии, я не помню процентов, у меня в голове будто камень, и я, когда прихожу на службу в 10 час. утра, чтобы расписаться (товарищи по работе ее отпускали домой), я делаю невероятное усилие, чтобы не заснуть здесь, на лестнице. Что делать? Что делать?"

"Крадите," — был ей ответ.

И стала она красть. Красть карточки, красть хлеб, красть деньги, все, что надо, что под руку попало. Но ни-



когда она не крала ничего у других матерей.

Целый год она уже ворует.

Потом, когда ее встретила я на рынке, она была чище и спокойнее.

"Слушайте, слушайте, Е.В., ведь я воровка, я ворую для детей и моего слепого мужа".

Эту женщину я обняла.

Вот, вот вам еще мать — это учительница гимназии, у нее трое детей, муж умер от сыпняка, два года тому назад, когда ездили за хлебом.

Тверская блещет огнями. Нэп гуляет по Тверской всю.

На углу стоит эта тонкая женщина. На ней прозрачное платье, шелковые чулки и шляпа, белья на ней нет. Лицо под краской и пудрой.

Ты приближаешься к ней. "Уйдите, я — проститутка, я кормлю своих детей... "Этой" меня сделали они".

А вот ткачиха с фабрики В-ой мануфактуры — у нее пятеро детей, мал мала меньше. Муж — коммунист, поехал в продотряд, но там его убили, за то, что у чужих детей хлеб отбирал, а за исчезнувших красноармейцев пайка не дают.

Но все-таки ждала она убитого мужа, как ждут все жены убитых, что они вернуться.

Фабрика стояла. Голод всех истерзал. Съели сначала картофельную муку, для технических целей бывшую на фабрике, потом ели траву, потом грибы. Потом начались похороны в каждой семье.

Вот мать, коммунистическая жена, 6 дней пила серу, чтоб дитя мертвое родилось. Чтобы легче пятерку свою кормить.

Да отравилась. А когда мы ей, почти мертвой, физиологический раствор поваренной соли вливали, то она

просила: "Сольцы бы ребяткам дали...".

Вот она, русская мать, вся перед вами.

\* \* \*

Я видела жен наших с.-р. товарищей, я встречала их на улице, они все ходили в тюрьму и обратно. Это шли старухи, огрубевшие от ветра и холода, черные, голодные, но гордые. Старость пришла так рано, что дети не успели еще подрасти.

Я встретила одного нищего, это с.-р., который дал подписку о выходе из партии; он шел вдоль улицы как-то боком, обтирая спиной дома. Он не смел подать мне руку.

—Я вышел из партии, потому что многих с.-р. в тюрьме на глазах у меня расстреляли (Мацкевич и др.). Я вышел из партии, потому что жену с двумя детьми в карцере держали, в Архангельской тюрьме. Партию я люблю, но я ослабел. Я был один в изоляторе, я слышал плач детей...

Но я встретила И.Денисевич, следователя по эсеровским делам, женщину-провокаatora. С фигурой модельки с бульвара Сен-Мишель, она интимно прижималась к чекисту в коридоре Лубянки, номер 14.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Сентябрь. Еду обратно в Петербург.

В пять часов я у "Метрополя", вышла из дому в два часа ночи. Моросит дождь. Очередь еще огромнее, чем в Питере. Платные — отдельно от предложений — заняли 316 мест, даже жутко. Многие, которые с вечера залегли, еще спали на земле. Некоторые дежурили третьи сутки, билеты даются в голодные губернии в ограниченном количест-

ве, но надо ехать, чтобы вырвать своих из пасти голода.

Десять часов утра, хвост выпрямился, опять сбился и медленно подвинулся. Общая платная очередь на все поезда Европейской России. В Питер едет только пять человек, которые затерялись в общем хвосте. Двенадцать дня. Сажу на тумбе, не верю, что уеду. Ночевки нет. В городе везде обыски, везде засады. Сам чекист Кожевников проверял засады. Злюсь. Подходит толстый кооператор и пристает с вопросами: "Вы, сударыня, почему такая печальная?" — "Потому что дождь меня мочит, потому что я одна, потому что сегодня не получу билета и потому что мой муж удрал за границу", — выпаливаю я ему одним духом, чтобы испугался и не приставал. — "Сударыня, берите мою очередь, я рад, что ваш муж удрал за границу. Моя фамилия Х." — "Спасибо".

Я наспех его поблагодарила, получила пять билетов для всех незнакомых питерцев и на трамвае за четыре тысячи подъехала к Николаевскому вокзалу, где в то время разгоняли толкучий рынок. А толчется этот рынок от Николаевского вокзала до Красных ворот, а потом налево до Земляного вала, а от Земляного вала до Курского вокзала, где останавливается и обратно идет толкаться.

\* \* \*

Наконец я на вокзале, потом вагон — вагон второго класса. Это уже настоящее нэпо.

Люди идут медленно, чинно, но не думайте, что они разучились лазить по заборам, скакать в окна, забираться под потолок, прятаться под лавки, лезть на крышу и там мгновенно засыпать. Нет, они никогда этого не забудут. Теперь нарочно сдерживаешь себя в своих порывистых движениях, выражениях, мнениях и впечатлениях, которыми жил эти четыре года.

А вы думаете, легко?

Ведь культура внешняя вся слетела с нас, только речь

выдавала происхождение. Публика ехала теперь совсем другая, или та, что раньше, но молчаливая, скрывающая теперь свое большевичье происхождение, потому что если вы встретите шикарную женщину на Кузнецком мосту, она обязательно скажет "сваво мужа".

Один только господин в вагоне щеголял своим партийным билетом, но он не имел успеха. Шикарный, руки и сапоги у него великолепны. Он из Баку, был на продовольственном съезде в Москве. Лицо не русское, не еврейское. Сборник Ахматовой "Красный путь" и красный билет, это — его фотография.

Военный контроль. Он гордо показывает свой красный билет члена ВЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем.

— Вы храбры, — говорю я, — но в обществе нэпо не принято показывать своего аттестата зрелости.

— Да, я знаю, но для этих идиотов, т.е. военного контроля, и ЧК что-нибудь да значит.

Да, думаю, и для меня ЧК много значит. Зевнула и крепко заснула.

За это время я до того отошала, похудела и была так нравственно разбита, что Бога молила, чтобы Петербург был далеко, далеко. И ехать долго, долго, до бесконечности долго.

\* \* \*

Не могу рассказать, сколько новых тайн Петрограда я узнала в эти дни. Эти тайны были большие и маленькие.

Большие тайны. Их много.

Одни из них пахли кровью, это когда перебили китайцев на рынках: "Ходя, ходя, почему у тебя походя руки в крови?". Их всех в один день передушили, как лягушек на улицах, это те "ходи", что ночью за душами в ЧК приходят. Китайцы-палачи.

Другие тайны пахли бриллиантами. Это те, что начи-

нались у бывшей виллы Родэ, переходили потом во внешторг с кинематографической дамой в бриллиантах и ее новым мужем. Грязная это была история, и ни одного лица с грязной репутацией она не пощадила.

Узнала я ужасную тайну Чеки всероссийской. Что все советские палачи не жильцы в Совдепе. После некоторого времени большевики сами их убивают, чтобы концы в воду. Нет палачей с партийным стажем.

Тут-то она вскрылась, партийная смердяковщина.

\* \* \*

Пока я эти тайны узнавала, настало время, когда я должна была отплыть в море, чтобы прибыть в чужие края.

Пришла я к патриарху контрабандистов. Человек как человек, и красивый, и приятный, но почему-то от него запах чужеземных стран идет. Одет он как коммунист, а пахнет контрабандой. Это как при прежнем режиме сыщики пахли улицей, и сколько бы они времени в засаде ни сидели, они всегда пахли улицей.

Так вот, если вы по моему описанию не найдете этого кожаного человека, который пахнет контрабандой, то вы плохой искатель и вам не попасть за границу или же никогда не отличиться по долгу службы в Чеке.

В тот же день и ночь море было беспокойное. Наждались очень. Ждали мы долго, но ни один спец по контрабанде не пришел. Неудачи следовали за мной по пятам.

Не надо осенью ехать в море, в детских сказках говорят.

Настало завтра. Потом вечер.

Приехал инструктор по контрабанде и сказал, что все ответственные работники по контрабанде уже в сборе и ждут своих жертв.

Жертвы были две: я и какой-то офицер, совершенно мне незнакомый и безобидный. попрощалась я со всеми

чужими, своих у меня нет в Петрограде, перекрестили они меня, и поехала. Патриарх контрабанды руки мне поцеловал и пачку бутербродов дал на дорогу. Я давно не ела бутербродов.

— Вы не бойтесь, — сказал он мне, — все коммунисты куплены, и тут такая организация запутанная, что положение, безусловно, устойчивое.

Теперь в России всегда говорят: чем запутаннее положение, тем оно устойчивее.

Мне стыдно было ему сказать, что я не боюсь.

Поехали, ехали-ехали. Совсем потемнело. Потом привели нас во дворец, назовем "Дворец дождей", и бросили на каменный пол.

По дворцовым палатам ходят тени, одна другой темнее, мыши снуют под ногами, лягушки от страха на стену лезут. Собаки пришли, понюхали нас и ушли. А мы сидим на полу: барыня и офицер.

Потом пришел "ответственный работник". Прыг в окно, мы к нему. И понеслись. Постояли и понеслись.

Ночь опустилась и закрыла нам глаза. Мы ничего не видели, а только слышали, как волны несли нашу лодку туда. Ехали мы часа четыре, но стран чужеземных нам все не видать.

Вот час ночи. Ну, скоро, скоро.

Что-то черное там вдали и белое впереди, верно, волны у берега плещут.

Встали разом все наши инструктора. Назад! Штурм идет, черный впереди пенится. Вон гора какая катит! Назад, назад, скорее к русским берегам.

Парус опустили, чтобы повернуть назад. Но первая волна уже тут. Все в воде и вода в нас. Но тут пираты заработали. Не первая буря их крестила, не последней будет она.

А я как пакетик у них под ногами валялась, да офицер за лавочку уцепился. Двадцать минут или двадцать часов промелькнуло, но врезались мы в мягкий песок русского берега.

Нас схватили на руки и понесли, а за нами понесли добро русское, царское и великокняжеское, — тащут его за границу. Подвели к разбойничьему вертепу и говорят: "Снимайте ботинки". Мой спутник: "Провокация". Какая же тут провокация? Сняли ботинки. И повели нас в разбойничьи хоромы, не желаю вам там побывать. "Ложитесь и молчите". Лежим и молчим в темноте. Холодно, все мокро насквозь, и хвост стал подмерзать у пальто.

Пришли все четверо, инструктора по контрабанде, вещи втащили в подвалы невидимые, и свет принесли они видимый. Выпили они крепкой тяжелой водки и улыбнулись, глядя на нас. Постлали они нам мокрые ковры персидские и легли вместе с нами подряд на полу.

Комната, когда рассветало, оказалась крохотной. Жара от всех нас стояла нестерпимая. Воздух, ну Бог с ним!

Вот компания: барыня, жена члена Учредительного Собрания, белый, ой какой белый оказался офицер, весь в царских подарках, и четыре мужчины. Сколько они лет пиратами были в море, Джек Лондон один может сказать. Я не могу.

Пять утра, хозяин входит. "Бегите, а то может быть обыск".

Мы не могли выйти, потому что с нас текло. Постепенно хозяин уносил вещи и сушил поочередно.

Наконец, когда мы подсохли немного, он умолял: "Уйдемте, вас поймают и контрабандистов расстреляют как финских шпионов белогвардейской организации, если вы будете с нами".

Вот куда я попала. Теперь я у белых.

А пока мы сушились, поезд ушел, и мы остались на дворе, я и белый гвардейский офицер.

Если есть предел человеческих страданий, то где же мой предел? Этот предел я перешла в тот день, там на вокзале. Насквозь промокшие, озябшие, синие после морской волны, избитые о дно лодки, мы чинно сидели на стульях вокзала. Рядом ходила женщина, которой надо было тоже ждать восемь часов поезда, как и нам. У нее был грудной

ребенок, он весь измок по собственной вине, нечем было перевернуть, был болен и душераздирающе кричал все восемь часов. Кричал так, как только одна мать может понять, как он кричал.

У офицера на днях умер такой же мальчик. У меня две детские могилы.

Дитя плачет, плачет, а мы сидим, сидим и ждем. В кармане у нас только деньги на билет.

Это была жестокая пытка сидеть так чинно на вокзале целый день, когда паспорта все размочены и нитки нет на тебе сухой и каждую минуту могут проверять документы.

Ждали мы и поезда, и конца бури. Может быть, ветер повернет и снова можно ехать. До 9 часов вечера ветер не повернул, и мы повернули обратно сами в Петербург. Казалось, будто стихия была против меня.

Вагоны пустые, холодные, четвертого класса, да ноги замерзшие.

Приехали.

Шли медленно по улицам и разошлись по домам чужим. В чужом доме холодно, спичек нет, света нет, чаю нет. В темноте спустила с себя мокрые одежды свои, тяжелые, намокшие, пудовые вещи, залезла в шкуру медведя и так продрожала в ней до шести утра.

А утром, темным питерским утром я бежала на Литейный мост смотреть: "Отшумело ль сине море или нет?" Но оно шумело, вздымалось, барашками расхлесталось по всей Неве. Нева злится, рокочет и подымается, и тянет тебя, и ухмыляется так зло и коварно, будто хохочет. Не улыбнулась я, не потянулась к Неве. Довольно.

Так еще недавно ушла туда одна женщина. Эта женщина не могла жить с людьми советскими и ушла в море. Не меня ль она зовет к себе — эта женщина с моря?

День прошел. Нева пожелтела, замутнела, и поплыли по ней всякие утонувшие вещи. Стало море! Голубое, нежное, тихое. И мы поехали опять.

\* \* \*



Когда я выходила из квартиры, ко мне пришла жена писателя и сказала, что Чеботаревская наверно ушла в море.

Вот оно, предзнаменование: мне, что ли?

Едем. Все то же, все те же встречи. Все та же осторожность в пути. Но что-то мне давит душу, не могу я быть прежней. Или тоска по родине, или тоска материнская во мне поднялась, и я чувствую слезы на моем исхудалом лице.

Едем тихо. Опасно. Но почему-то не радостно и не страшно. Все опасности, наконец, миновали. Покачало и стало.

Ветер не дует, идем на веслах. Вот уже видны очертания чужой страны. Звучно с лодки раздается песня финна-рыбака. Темно, совсем темно.

Стало смешно от непонятных слов песни. — И-и-и-и! — звучит в ушах. — У-у-у-у! — ее догоняет. Какая музыка нерусская, какая песня мне чужая!

Земля почти тут. Одна верста осталась. Темно.

Весла ритмично в воду гребец опускает. Вдруг за спиной у нас шквал вырастает. Вот она, гибель моя, долго ты гналась за мною. Шквал на части весь раздробился. Лодку он в щепки о камень разбил. Исчезло все: гребцы, снасти, парус, ковры и добро. Добычу море унесло... Я покрылась вся покровом воды бирюзовой, соленой. Я спустилась глубоко, глубоко. — Шквал налетел вдруг второй. Руки жестоко он мне заломил, ноги порвал он о камни подводные и бросил куда-то, на скалу какую-то, так больно, жестоко, так сильно. Конец. Спаслась? — Нет, опять волна меня тащила в море. Да, тут конец! Вот смерть моя. И зубы, стиснутые крепко, я размыкаю. Скорее воду горькую мне выпить всю до дна и умереть, как нужно умирать, без стоны и упрека. Но снова шквал жестокий и колючий меня рванул и выбросил на острый камень красного гранита. Так я спаслась.

Через немного времени рыбак вытащил меня за волосы из моря. Было два часа ночи, все были налицо.

Но в бешенстве каком-то швыряло море вещи наши нам в лицо.

Ночь была темная, холодная, осенняя.

Октябрьская непогода.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

1. Михаил ГЕЛЛЕР. Как люди жили ..... 5
2. А.ИЗГОЕВ. Пять лет в Советской России ..... 9
3. И.РАПОПОРТ. Полтора года  
в советском главке ..... 99
4. Д.ЛУТОХИН. Советская цензура ..... 117
5. Е.ПОСТНИКОВА. 21-й год ..... 139

